



По Э.

РАССКАЗЫ

Эдгар Аллан По

Рассказы

«Алгоритм»

до 1849 г.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7США)

По Э.

Рассказы / Э. По — «Алгоритм», до 1849 г.

ISBN 978-5-486-03629-3

Творчество одного из величайших американских романтиков Эдгара Аллана По (1809–1849) весьма своеобразно и, пожалуй, беспрецедентно по своему воздействию на мировую литературу. Магией его стихов было очаровано несколько поколений поэтов, его проза обусловила возникновение многих литературных школ. Не только для XIX, но и для XX века он остался «самым звездным из заблудившихся на земле трубадуров вечности», как назвал Эдгара По влюбленный в его поэзию Константин Бальмонт. В данном томе представлены лучшие рассказы Эдгара По, написанные им в разные годы.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7США)

ISBN 978-5-486-03629-3

© По Э., до 1849 г.
© Алгоритм, до 1849 г.

Содержание

Эдгар По	6
Рассказы	12
Манускрипт, найденный в бутылке	12
Береника	19
Лигейя	24
Падение дома Эшеров	32
Вильям Вильсон	42
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Эдгар Аллан По

Рассказы

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Эдгар По

Биографический очерк

Величайший из американских поэтов родился 19 января 1809 года в Бостоне, США. Его родители, актеры бродячей труппы, умерли, когда Эдгару было всего два года. Мальчика принял и усыновил зажиточный купец из Виргинии Дж. Аллан. Детство Эдгара прошло в обстановке достаточно богатой. Алланы не жалели средств на его воспитание; хотя порой дела их шли неудачно, им даже грозило банкротство, мальчик этого не чувствовал: его одевали «как принца», у него была своя лошадь, свои собаки, свой грум. Когда Эдгару было шесть лет, Алланы поехали в Англию; там отдали мальчика в дорогой пансион в Лондоне, где он учился пять лет. По возвращении Алланов в 1820 году в Штаты Эдгар поступил в колледж в Ричмонде, который кончил в 1826 году. Заканчивать образование Эдгара отправили в университет в Ричмонде, тогда только что основанный.

Эдгар развился рано; в пять лет он читал, писал, рисовал, декламировал, ездил верхом. В школе легко поглощал науки, приобрел большой запас знаний по литературе, особенно английской и латинской, по всеобщей истории, по математике, по некоторым отраслям естествознания, таким, как астрономия, физика. Физически Эдгар был силен, участвовал во всех шалостях товарищей, а в университете – во всех их кутежах. Характер будущего поэта с детства был неровный, страстный, порывистый; в его поведении было много странного. С ранних лет Эдгар писал стихи, увлекался фантастическими планами, любил производить психологические опыты над собой и другими; сознавая свое превосходство, давал это чувствовать.

Жизнь в богатстве кончилась для Эдгара, когда ему не было и полных 17 лет. В университете он пробыл всего год. Осенью 1826 года произошел разрыв между Дж. Алланом и его приемным сыном. Кто был «виноват», теперь выяснить трудно. Есть свидетельства, неблагоприятные для Эдгара; рассказывают, что он подделал векселя с подписью Дж. Аллана, что однажды, пьяный, наговорил ему грубостей, замахнулся на него палкой и т. п. С другой стороны, неоткуда узнать, что терпел гениальный юноша от разбогатевшего покровителя (Дж. Аллан получил неожиданное наследство, превратившее его уже в миллионера), вполне чуждого вопросам искусства и поэзии. По-видимому, искренне любила Эдгара только госпожа Аллан, а ее муж давно уже был недоволен эксцентричным приемным сыном. Поводом к ссоре послужило то, что Аллан отказался заплатить карточные долги Эдгара. Юноша считал их «долгами чести» и не видел иного исхода для спасения этой «чести», как покинуть богатый дом, где воспитывался.

Для Эдгара По началась скитальческая жизнь. Покинув дом Алланов, он поехал в родной Бостон, где напечатал сборник стихов под псевдонимом Бостонец; книжечка, впрочем, в свет не вышла. Это издание, вероятно, поглотило все сбережения юноши. Не имея приюта, он решился на крутой шаг – и поступил солдатом в армию под вымышленным именем. Службу он нес около года, был у начальства на хорошем счету и даже получил чин сержант-майора. В конце 1827-го или в начале 1828 года поэт, однако, не выдержал своего положения, обратился к приемному отцу, прося помощи, и, вероятно, выражал раскаяние. Дж. Аллан, может быть, по ходатайству жены, пожалел юношу, оплатил наем заместителя и выхлопотал Эдгару освобождение. Но, приехав в Ричмонд, Эдгар уже не застал в живых своей покровительницы: госпожа Аллан умерла за несколько дней до того (28 февраля 1829 года).

Получив свободу, Эдгар По вновь обратился к поэзии. Он вновь побывал в Балтиморе и познакомился там со своими родственниками по отцу (которые разошлись с ним из-за его женитьбы на актрисе) – с сестрой, бабушкой, дядей Георгом По и его сыном Нельсоном По. Последний мог познакомить Эдгара с редактором местной газеты, Уильямом Гвином. Через Гвина Эдгар получил возможность обратиться к видному тогда нью-йоркскому писателю Дж

Нилу. И Гвину и Нилу начинающий поэт представил на суд свои стихи. Отзыв, при всех оговорках, был самый благоприятный. Результатом было то, что в конце 1829 года в Балтиморе вторично был издан сборник стихов Э. По под его именем, озаглавленный «Аль-Аарааф, Тамерлан и малые стихотворения». На этот раз книжка поступила в магазины и в редакции, но прошла незамеченной.

Между тем Дж Аллан настаивал, чтобы Эдгар закончил свое образование. Решено было, что он поступит в Военную академию в Вест-Пойнте, хотя по годам он уже не подходил к этой школе для юношей. В марте 1830 года, по ходатайству Аллана, Эдгар все же был принят в число студентов, и его приемный отец подписал за него обязательство отслужить в армии пять лет. Вряд ли Эдгар охотно шел в академию; во всяком случае, он скоро убедился, что карьера, навязанная ему приемным отцом, совершенно для него неприемлема. Нормальным порядком покинуть школу Эдгар не мог. С обычной горячностью он взялся за дело иначе и сумел добиться того, что в марте 1831 года был из академии исключен. Этим юный поэт опять вернул себе свободу, но, конечно, вновь рассорился с Дж Алланом.

Из Вест-Пойнта Эдгар По уехал в Нью-Йорк, где поспешил издать третий сборник стихов, названный, однако, «вторым изданием»: «Поэмы Эдгара А По. Второе издание». Средства на издание были собраны подпиской; подписались многие товарищи из академии, ожидавшие, что найдут в книге те стихотворные памфлеты и эпиграммы на профессоров, которыми студент Аллан-По стал известен в школе. Таким подписчикам пришлось разочароваться. Покупателей у книги, оцененной дорого, в два с половиной доллара, не нашлось. Немногочисленные рецензенты подсмеивались над «непонятностью» стихов.

В 1831 году Эдгар По делал попытки занять какое-либо определенное положение в обществе. Сохранилось от этого времени два письма. Первое, от 10 марта 1831 года, Эдгар По послал некоему полковнику Тэйеру с фантастической просьбой: помочь ему, Эдгару, как сержант-майору американской армии поступить в ряды французских войск, если Франция вступится за Польшу и пошлет повстанцам 1831 года помощь против России. Вероятно, письмо осталось без ответа. Второе, от 6 мая 1831 года, адресовано Уильяму Гвину о котором уже упоминалось: Эдгар По просил предоставить ему какую-нибудь литературную работу. Если ответ и был, то отрицательный. Тогда же, летом 1831 года, Эдгар По искал места учителя в одной школе в Балтиморе, но тоже безуспешно. Есть еще сомнительные сведения, что Эдгар По вновь обращался к своему приемному отцу и тот выдавал ему какие-то денежные пособия. Во всяком случае, пособия эти были крайне незначительны.

Три года, с осени 1831 по осень 1833 года, – самый темный период в биографии Эдгара По. Летом 1831 года Эдгар По жил в Балтиморе, у своей тетки г-жи Клемм, матери той Виргинии, которая стала женой поэта (заметим, что Виргинии тогда было всего девять лет). С осени 1831 года следы Эдгара По теряются. Некоторые биографы предполагали, что на эти годы падает поездка Эдгара По в Европу. В своих стихах и рассказах Эдгар По не раз говорит о разных местностях Европы тоном очевидца (например, в стихотворении «К Занте»). Но никакие документальные данные такой поездки не подтверждают, да и вряд ли у Эдгара По могли быть средства на нее. Вероятно, что эти три года Эдгар По провел в Балтиморе, существуя на скудные пособия Дж Аллана, на случайные заработки и пользуясь помощью госпожи Клемм, которая любила юного поэта как сына, но сама была бедна. К концу этого периода Эдгар По дошел до крайней стесненности, вернее до подлинной нищеты.

Несомненно, что за эти годы молодой поэт все же много работал. Им был написан ряд новелл – лучших в раннем периоде его творчества. Осенью 1833 года балтиморский еженедельник «Saturday Visitor» («Субботний гость») объявил конкурс на лучший рассказ и лучшее стихотворение. Эдгар По послал на конкурс шесть рассказов и отрывок в стихах «Колизей». Члены жюри, Дж. Кеннеди, Д. Латроб и Дж. Миллер, единогласно признали лучшими и рассказ и стихи Эдгара По. Однако, не считая возможным выдать две премии одному лицу, премиро-

вали только рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке», за который автору и была выдана премия в сто долларов. Деньги подоспели как раз вовремя. Эдгар По буквально голодал, и когда Кеннеди пригласил его к себе обедать, должен был отказаться за отсутствием мало-мальски приличного костюма...

Весной следующего года, в марте 1834-го, умер Дж Аллан, не оставив по завещанию своему приемному сыну ни цента. Но к этому времени Эдгар По уже начал работать в журналах. Сначала он помещал кое-что в «Saturday Visitor»; потом был рекомендован Кеннеди в одно нью-йоркское издание к Томасу Уайту, издававшему в Ричмонде «Southern Literary Messenger» («Южный литературный вестник»). В этом последнем журнале Эдгар По стал сотрудничать регулярно, поместив там ряд статей и, между прочим, весной 1835 года, новеллы «Морелла» и «Береника», а потом «Приключение Ганса Пфааля», имевшие у американской публики огромный успех. Говорят, что при сотрудничестве Эдгара По тираж журнала возрос с 700 до 5000 подписчиков.

Томас Уайт пригласил Эдгара По редактировать «Вестник», с жалованьем в десять долларов в неделю. Эдгар По должен был переехать в Ричмонд, но до отъезда пожелал обвенчаться с той Виргинией, которую знал с детства и давно любил. Виргиния во многом была подобна идеальным героиням сказок Эдгара По; красота ее была исключительная. Но летом 1835 года Виргинии все еще не было полных тринадцати лет (так как она родилась 22 августа 1822 года). Родственники Эдгара, особенно Нельсон По, о котором уже упоминалось, были против такого брака с девочкой, но Эдгар настаивал, и миссис Клемм, мать невесты, приняла его сторону. Эдгар и Виргиния были негласно обвенчаны, но новобрачная осталась в доме матери, и через год (16 мая 1836 года) церемония венчания была повторена открыто; впрочем, и тогда Виргинии недоставало трех месяцев до четырнадцати лет.

Новобрачные предполагали жить вместе с миссис Клемм в Ричмонде, где у Эдгара По была квартира в доме Уайта. Однако между редактором и издателем неожиданно произошел разрыв, причины которого не вполне выяснены. 3 января 1837 года Эдгар По сложил с себя обязанности редактора «Вестника», дававшие ему уже пятнадцать долларов в неделю, и в том же месяце уехал с семьей в Нью-Йорк как в самый крупный литературный центр Штатов. В Нью-Йорке поэт поселился в жалком домишке на Carmine-Street, причем миссис Клемм решила там открыть пансион, вернее, просто сдавать жильцам «комнаты со столом».

В Нью-Йорке Эдгар По прожил почти два года. Он сотрудничал в разных изданиях, преимущественно в «American Museum» («Американский музей»), напечатав за это время несколько из замечательнейших своих поэм и новелл, в том числе и «Лигейю». Отдельно он издал «Приключения Артура Гордона Пима», повесть, прошедшую мало замеченной в Америке, но имевшую большой успех в Англии. Гонорар Эдгара По обычно не превышал 5–6 долларов за рассказ, редко доходя до десяти долларов, так что поэт постоянно нуждался Любопытно, что наибольший материальный успех выпал на долю составленного Эдгаром По руководства по хронологии, которое, по существу, было почти плагиатом, – сокращением и поверхностной переделкой труда одного шотландского профессора: работа была исполнена столь удачно, что переделку покупали предпочтительно перед оригиналом.

В конце 1838 года Эдгар По с семьей вновь переселился, на этот раз – в Филадельфию, тоже большой литературный центр, соперничавший с Нью-Йорком. По было предложено место редактора, опять с жалованьем в десять долларов в неделю, со стороны «Gentleman's Magazine» (буквально: «Джентльменский журнал», т. е. журнал для читателей избранных, культурных), возникшего только в предыдущем году. В этом издании Эдгар По опять поместил ряд замечательных новелл, в том числе «Падение дома Эшеров», и нес все тяготы чисто журнальной работы. Там же в 1840 году Эдгар По начал печатать «Записки Юлия Родмана», самое крупное (по размерам) свое произведение после «Приключений Артура Гордона Пима»; но «Записки» остались незаконченными. Сотрудничал он и в других изданиях.

Долго и упорно Эдгар По мечтал основать собственный журнал; даже был уже напечатан проспект о ежемесячнике «Penn Magazine», но издание не осуществилось, конечно, по недостатку средств. С февраля 1841 года «Gentleman's Magazine» соединился с журналом «The Casker» («Шкатулка») в одно издание под названием «Graham's Magazine» («Журнал Грехэма»), руководителем которого остался Эдгар По. В короткое время тираж этого нового журнала достиг значительной цифры в 40 000 экземпляров. Положение Эдгара По как будто улучшалось. В конце 1840 года Эдгар По собрал свои новеллы в отдельном издании, в двух томах, под заглавием «Гротески и арабески». В любопытном предисловии к этому изданию Эдгар По защищается от упрека в «германизме», говоря, что «страх», составляющий тему многих рассказов, – явление не «германское», а психическое. Сравнительное преуспевание Эдгара По длилось недолго. «Гротески», по издательскому выражению, «не пошли»; «Журнал Грехэма» неожиданно распался. Издатель журнала пригласил для работы в редакции Руфуса У. Грисуолда, которого Эдгар По имел поводы считать своим личным врагом. Нервность, страстность Эдгара По привели к тому, что он немедленно покинул редакцию, чтобы не возвращаться в нее более. Это произошло в марте 1842 года. После того начались тщетные поиски места и заработка. Эдгару По давали обещания, но не исполняли их; проходили месяцы, скудные сбережения исчерпывались. В несчастье Эдгар По все чаще уступал болезненному влечению к алкоголю, и его враги пользовались его болезнью, чтобы унижить его. Р. Грисуолд, занявший место Эдгара По в «Журнале Грехэма», печатал яростные нападки на поэта. Эдгар По, по возможности, отвечал, не щадя самолюбия бездарного стихокропателя. Эта полемика в достаточной степени повредила Эдгару По в литературных кругах.

Не без труда Эдгар По нашел наконец скучную работу в «Saturday Museum» («Субботный музей»). Между тем гениальные сказки и новеллы поэта, оплачиваемые ничтожным гонораром, 2–3 доллара за страницу, печатались в мелких американских журналах, в числе таких рассказов были «Элеонора», «Колодец и маятник», «Тайна Мари Роже». Только «Золотой жук», рукопись которого долго валялась в редакции «Журнала Грехэма», принес Эдгару По премию в сто долларов на конкурсе, который был организован захудалым изданием «The Dollar Newspaper» («Временник в один доллар»). Рассказ был затем перепечатан несчетное число раз, но не принес автору более ничего: законы о печати в Штатах были тогда еще несовершенны. Несколько больший заработок давали публичные лекции, и Эдгар По все чаще стал выступать лектором, пользуясь, между прочим, кафедрой для полемики со своими врагами, особенно с Грисуолдом.

Так просуществовал Эдгар По с семьей в 1841–1843 годы, живя в маленьком домишке, в предместье Филадельфии. Но впереди подстерегало поэта тяжелое испытание. У Виргинии, после пения, лопнул кровеносный сосуд. Несколько дней она была при смерти; потом оправилась, но с тех пор ее жизнь стала медленным умиранием. Кровотечения из горла повторялись и каждый раз грозили смертью. Эдгар По дошел до пределов отчаяния. Он утратил способность работать систематически. Помимо вина, он стал прибегать к опию. Для жены и ее матери это был ужас; для самого Эдгара – стыд, так как он и сам считал свою болезнь пороком; для литературных врагов – предлог для неистовых обвинений и коварных соболезнований. К 1844 году Эдгар По с семьей снова дошел до нищеты; они голодали. Положение было таково, что Эдгар По написал письмо Грисуолду, прося ссудить пять долларов.

В апреле 1844 года По опять переехал в Нью-Йорк. Издатель местной газеты нажил хорошие деньги, устроив ловкую рекламу рассказу Эдгара По «Перелет через Атлантику», но сам автор получил гроши. В нью-йоркских журналах было напечатано несколько новелл Эдгара По, но гонорар едва спасал от голодной смерти. В январе 1845 года журнал «The Evening Mirror» («Вечернее зеркало») напечатал поэму «Ворон», которую поэт тщетно предлагал в другие издания. За это свое знаменитейшее создание Эдгар По получил десять долларов. (Позднее,

в 1891 году, автограф «Ворона» был продан на аукционе за 225 долларов, а автограф «Колоколов» в 1905 году – за 2100 долларов.)

Впрочем, успех поэмы был исключительный; о ней много говорили, сам автор мог прочесть несколько лекций о «Вороне» в разных городах; поэта стали приглашать как знаменитость в «лучшее» общество Нью-Йорка.

Полоса успеха длилась около года. Благодаря публичным лекциям появились кое-какие деньги. Затем, в том же 1845 году, было выпущено отдельное собрание стихов Эдгара По, «Ворон и другие стихотворения», потребовавшее повторения в том же году, а в следующем, 1846-м, переизданное в Англии. Ряд новых новелл Эдгара По был напечатан в разных журналах. Наконец, издатели нового «Broadway Journal» («Бродвейский журнал») пригласили Эдгара По быть членом редакции. Последнее, однако, вряд ли сослужило поэту пользу. Он скоро рассорился с соиздателями и отважно взвалил на одного себя ведение журнала. Но всего гения поэта, всей той изумительной трудоспособности, которую он умел проявлять по временам, оказалось недостаточно; был нужен капитал, а денег не было. Эдгар По занимал мелкие суммы, опять обращался к Грисуолду за ссудой в 50 долларов, но это не могло спасти издание. Уже 25 декабря 1845 года Эдгар По вынужден был сложить с себя обязанности редактора.

С 1846 года возобновилась прежняя бедственная жизнь – жалкие гонорары, скудные доходы с лекций, не всегда удачных, приступы алкоголизма, и все это – рядом с умирающей безумно любимой женой.

Поэт-энтузиаст строил химерические проекты, задумывал грандиозные литературные планы, но все это оставалось мечтами. В ту эпоху у Эдгара По уже были верные друзья: Уиллис, госпожа Осгуд, госпожа Шью и другие, которые, сколько могли, помогали поэту. Из воспоминаний этих лиц рисуется мучительная картина жизни Эдгара По в этом году. Сидя у постели угасающей Виргинии, поэт опять не в силах был работать. Деньги в доме отсутствовали; есть было нечего; зимой не было дров. Эдгар согревал руки больной своим дыханием или клал ей на грудь большую пушистую кошку: большего, чтобы защитить Виргинию от холода, он сделать не мог. 30 января 1847 года Виргиния умерла. Только благодаря помощи госпожи Шью похороны были «приличны», что особенно оценила госпожа Клемм.

Последние годы жизни Эдгара По, 1847–1849, были годами метаний, порой полубезумия, порой напряженной работы, редких, но шумных успехов, горестных падений и унижений и постоянной клеветы врагов (из коих одного поэт даже привлек к суду). Виргиния, умирая, взяла клятву с госпожи Шью не покидать Эдди (Эдгара); она и его другие друзья старались удерживать его от неосторожных поступков, но это было нелегко. Эдгар По еще пленялся женщинами, воображал, что вновь любит, даже шла речь о женитьбе на подруге его юности, Эльмире Райт. В жизни он держал себя странно, вызывая недоумение окружающих. Однако он издал еще несколько гениальных произведений: «Улалюм», «Колокола», «Аннабель-Ли». Он написал также философскую книгу «Эврика», которую считал величайшим откровением, когда-либо данным человечеству.

Но недуг уже разрушал жизнь поэта; припадки алкоголизма становились все мучительнее, нервность возрастала почти до психического расстройства. Госпожа Шью, не умевшая понять болезненного состояния поэта, сочла нужным устраниться из его жизни. Осенью 1849 года наступил конец. Полный химерических проектов, считая себя вновь женихом, Эдгар По в сентябре этого года с большим успехом читал в Ричмонде лекцию о «Поэтическом принципе». Из Ричмонда Эдгар По выехал, имея 1500 долларов в кармане. Что затем произошло, осталось тайной. Может быть, поэт подпал под влияние своей болезни; может быть, грабители усыпили его наркотиком. Эдгара По нашли на полу в бессознательном состоянии, ограбленным. Поэта привезли в Балтимору, где Эдгар По и умер в больнице 7 октября 1849 года.

По собственному распоряжению Эдгара По, редактором посмертного издания его сочинений был избран Р. Грисуолд. Это роковым образом предопределило посмертную судьбу

поэта на долгие десятилетия. В память ближайших поколений благодаря заботам Грисуолда Эдгар По вошел как полусумасшедший пьяница, автор занимательных, но диких и извращенных произведений. Медленно, очень медленно стараниями истинных ценителей творчества Эдгара По удавалось изменять такое предвзятое мнение. Только в конце XIX и в начале XX века была восстановлена, в документально обоснованных биографиях, подлинная судьба поэта, составлено действительно полное собрание его сочинений и дана возможность читателям правильно судить о величайшем из поэтов новой Америки.

Валерий Брюсов

Рассказы

Манускрипт, найденный в бутылке

*Qui n'a plus qu'un moment à vivre
N'a plus rien à dissimuler.*

Quinault. «Atys»¹

О моей родине и о моей семье мне почти нечего сказать. Постоянные злополучия и томительные годы отторгнули меня от одной и сделали чужим для другой. Родовое богатство дало мне возможность получить воспитание незаурядное, а созерцательный характер моего ума помог мне систематизировать запас знаний, который скопился у меня очень рано, благодаря неустанным занятиям. Больше всего мне доставляли наслаждение произведения германских философов; не в силу неуместного преклонения перед их красноречивым безумием, но в силу той легкости, с которой мое строгое мышление позволяло мне открывать их ошибки. Меня часто упрекали в сухости моего ума; недостаток воображения постоянно вменялся мне в особенную вину; и пирронизм моих суждений всегда обращал на меня большое внимание. Действительно, сильная склонность к физической философии, я боюсь, отметила мой ум весьма распространенной ошибкой нашего века – я разумею манеру подчинять принципам этой науки даже такие обстоятельства, которые наименее дают на это право. Вообще говоря, нет человека менее меня способного выйти из строгих пределов истины и увлечься блуждающими огнями суеверия. Я счел нужным предпослать эти строки, потому что иначе мой невероятный рассказ стал бы рассматриваться скорее как бред безумной фантазии, нежели как положительный опыт ума, для которого игра воображения всегда была мертвой буквой.

После нескольких лет, проведенных в скитаниях по чужим краям, я отплыл в 18... году от Батавии, из гавани, находящейся на богатом и очень населенном острове Ява, держа путь к архипелагу Зондских островов. Я отправлялся как пассажир, не имея к этому никакой иной побудительной причины, кроме нервного беспокойства, которое преследовало меня, как злой дух.

Наше судно представляло из себя очень солидный корабль, приблизительно в четыреста тонн, скрепленный медными заклепками и выстроенный из малабарского тика в Бомбее. Судно было нагружено хлопчатой бумагой и маслом с Лакедивских островов. Кроме того, в грузе были кокосовые хлопья, кокосовые орехи, тростниковый сахар и несколько ящиков с опиумом. Нагрузка была сделана искусно, и из-за этого корабль накренился.

Мы отплыли под дуновением попутного ветра и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы, причем единственным развлечением, сколько-нибудь нарушавшим монотонность нашего путешествия, были случайные встречи с тем или с другим из небольших грабов, плавающих по архипелагу, к которому мы были прикованы.

Однажды вечером, облокотясь на гакаборт, я следил за странным облаком, одиноко видневшимся на северо-западе. Оно было замечательно как по своему цвету, так и по тому, что оно было первым облаком, которое мы увидели с тех пор, как отплыли из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до заката солнца, и тут оно мгновенно распространилось к востоку и к западу, опоясав горизонт узкой полосой тумана и приняв вид длинной линии отлогого берега. Вни-

¹ Кому осталось жить одно мгновенье, Тому уж нечего скрывать. Кино. «Атис» (фр.).

мание мое вскоре после этого было привлечено видом багрового месяца и особенным характером моря. С этим последним совершалась быстрая перемена, и вода представлялась более чем обыкновенно прозрачной. Хотя я совершенно явственно мог видеть дно, тем не менее, опустивши лот, я нашел, что глубина под кораблем была более пятнадцати фадомов.

Воздух сделался невыносимо удушливым и был насыщен спиральными испарениями, подобными тем, которые поднимаются от раскаленного железа. С приближением ночи самое легкое дуновение ветра умерло, и более невозмутимого спокойствия невозможно было себе представить. Пламя свечи горело на корме без малейшего колебания, и длинный волос, будучи положен между большим пальцем и указательным, висел так неподвижно, что нельзя было уловить даже самого слабого трепетания. Однако, по словам капитана, ничто не предвещало опасности, и, так как мы плыли боком к берегу, он отдал приказание убрать паруса и ослабить якорь. Не было поставлено ни одного часового, и весь экипаж, состоявший главным образом из малайцев, преспокойно улегся на палубе. Я сошел вниз – и, должен сказать, в душе у меня было полное предчувствие беды. На самом деле, все говорило мне о приближении самума. Я высказал свои опасения капитану; но он не обратил на мои слова никакого внимания и даже не удостоил меня ответом. Как бы то ни было, благодаря беспокойству я не мог уснуть и около полуночи отправился на палубу. Когда я взошел на последнюю ступеньку трапа, находившегося возле капитанской каюты, я был поражен громким и глухим шумом, подобным быстрому рокоту мельничного колеса, и прежде чем я успел подумать, что это значит, я почувствовал, как корабль задрожал до основания. В следующее мгновение бешеный вал, покрытый барашками, опрокинул корабль на бок и, промчавшись спереди и сзади, точно гигантской метлой мгновенно очистил всю палубу с носа до кормы.

Крайнее бешенство вихря в значительной степени обеспечило целостность корабля. Хотя он весь окунулся в воду, однако, через несколько мгновений, после того как мачты опрокинулись на борт, он тяжело поднялся из моря и, содрогаясь под исполинским давлением бури, в конце концов совершенно выпрямился.

Каким чудом я спасся от гибели, не могу объяснить. Оглушенный ударом водного потока, я тотчас же очнулся и увидел себя стиснутым между старнпостом и рулем. С великим затруднением я высвободил свои ноги и, оглядевшись кругом потерянным взглядом, был прежде всего поражен мыслью, что вокруг нас свирепствует бурун, – так чудовищно было это невообразимое кружение исполинских пенистых масс океана, в смятение которых мы были втянуты. Через некоторое время я услышал голос старика шведа, который сел вместе с нами на корабль в ту самую минуту, когда мы оставляли гавань. Я стал кричать ему изо всех сил, и неверными шагами он подошел ко мне сзади. Вскоре нам пришлось убедиться, что только мы двое пережили это неожиданное событие. Исключая нас, весь экипаж, находившийся на палубе, был смыт – капитан и штурманы, несомненно, погибли во время сна, потому что каюты были залиты водой. Без какой-нибудь посторонней помощи мы вряд ли могли сделать что-нибудь для того, чтобы спасти корабль, и всякие усилия были сперва парализованы ежеминутным ожиданием гибели. Наш канат, конечно, лопнул, как тонкая бечевка, при первом же взрыве урагана, в противном случае мы тотчас же были бы поглощены морем. С ужасающей быстротой мы мчались теперь по морю и видели, как вода делает в корабле трещины. Сруб кормы был сильно расщеплен, и почти повсюду мы получили значительные повреждения; но к крайней нашей радости насосы не были повреждены, и в балласте не произошло значительных передвижений. Главное бешенство бури уже миновало, и со стороны ветра нам не угрожало особенной опасности; но мы с ужасом думали, что порывы вихря могут совсем прекратиться, так как не могли не видеть, что тогда корабль, в своем полуразрушенном состоянии, неминуемо погибнет под напором ужасающих валов. Однако такое справедливое опасение, по-видимому, не должно было скоро оправдаться. Целые пять дней и пять ночей, в течение которых нашим единственным пропитанием было небольшое количество тростникового сахара, с тру-

дом добытого из бака, корпус корабля устремлялся с невообразимой поспешностью под дуновением быстро сменявшихся порывов вихря, который, не будучи равен по силе первому взрыву самума, все же был настолько страшен, что подобного смятения воздуха до тех пор я никогда не видал. Первые четыре дня мы плыли с небольшим уклоном, к юго-востоку и к югу; должно быть, мы направлялись к берегу Новой Голландии. На пятый день стало чрезвычайно холодно, хотя ветер передвинулся на один градус к северу. Встало солнце с болезненно-желтым сиянием, оно едва поднялось над горизонтом, не распространяя настоящего света. На небе не виднелось облаков, но ветер возрастал и дул с каким-то тревожным непостоянным бешенством. Около полудня, насколько мы могли судить о времени, внимание наше было снова привлечено видом солнца. От него не исходило света в собственном смысле этого слова, но оно было исполнено мертвого и пасмурного блеска без отражения, как будто лучи его были поляризованы. Перед тем как оно должно было опуститься за поверхность вздутого моря, его центральные огни внезапно исчезли, как бы мгновенно погашенные какою-то непостижимой силой, и только туманное серебристое кольцо ринулось в бездонный океан.

Мы напрасно дожидались рассвета, который возвестил бы нам о пришествии шестого дня; этот день для меня не настал, для шведа он не наступил никогда. Мы погрузились с тех пор в непроглядный мрак, так что нам ничего не было видно на расстоянии десяти футов от корабля. Часы проходили, а нас продолжала окутывать непрерывная ночь, не озаренная даже тем фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили, кроме того, что, хотя буря продолжала неистовствовать, вокруг уже не наблюдалось обычных особенностей буруна, или пены, которая нас до сих пор сопровождала. Кругом были только ужас и непроницаемая тьма и наводящая отчаяние пустыня черноты. Суеверный страх малопомалу овладел умом старика шведа, и моя собственная душа была охвачена безмолвным изумлением. Мы оставили всякие заботы о корабле как бесполезные и, уцепившись насколько возможно крепко за обломок бизань-мачты, горестно смотрели в безбрежность океана. У нас не было возможности считать время, у нас не было возможности составить какое-нибудь представление о том, где мы находимся. Мы, однако, ясно сознавали, что мы ушли на юг дальше, чем кто-либо из предшествующих мореплавателей, и испытывали крайнее изумление, не встречая обычных препятствий в виде ледяных глыб. Между тем каждое мгновение грозило нам гибелью, каждый исполинский вал стремился поглотить нас. Морское волнение превосходило все представления моей фантазии, и только чудо могло нас спасти от угроз губительного мига. Мой товарищ говорил о легкости нашего груза, напоминал мне о превосходном качестве нашего корабля; но я не мог не чувствовать безнадежности самой надежды и мрачно приготовился к смерти, полагая, что она последует не позже, как через час, ибо с каждым пройденным узлом подыятие черных ужасающих волн становилось все страшнее и чудовищнее. Временами мы задыхались на высоте большей, чем высота полета альбатросов, временами мы чувствовали головокружение от быстроты нашего нисхождения в морскую преисподнюю, где воздух становился недвижимым и ни один звук не возмущал дремоту кракена.

Мы находились на дне одной из таких пропастей, когда быстрый крик моего товарища страшно прозвучал в безмолвии ночи. «Смотрите! Смотрите! – вскричал он, выкликая прямо в мои уши. – Всемогущий Боже! Смотрите! Смотрите!» Пока он говорил, я увидел мрачный, пасмурный отблеск красного света, струившегося по стенам обширной бездны, где мы находились, и бросавшего неровное мерцание на нашу палубу. Устремив глаза вверх, я увидел зрелище, заморозившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на самом краю чудовищного обрыва, качался гигантский корабль, быть может, в четыре тысячи тонн. Хотя он находился на вершине вала, более чем в сто раз превосходившего его собственную высоту, видимые его очертания все же оставляли за собой всякий линейный корабль и всякое судно Восточной Индийской компании. Его громадный корпус угрюмо чернелся, не будучи нисколько смягчен каким-либо из обычных украшений. Шеренга медных пушек выдвигалась из открытых люков и

отбрасывала от своих полированных поверхностей огни бесчисленных боевых фонарей, которые качались там и сям на снастях. Но что более всего исполнило нас ужасом и изумлением, это то, что он шел на всех парусах по этому сверхъестественному морю, несмотря на этот неукротимый ураган. В первое мгновение виднелись только корабельные скулы, между тем как весь исполин медленно вставал из неясной и чудовищной пучины, находившейся по ту сторону. На один миг – миг напряженного ужаса – он взвился на самую вершину этого головокружительного вала, помедлил, как бы опьяненный собственным взмахом, и дрогнул, и заколебался – и устремился вниз.

Не знаю, откуда у меня взялось самообладание в эту минуту. Отшатнувшись назад, как только мог, я бестрепетно ждал своей гибели. Корабль наш наконец перестал бороться с морем и начал погружаться с носовой стороны в воду. Толчок стремительной водной массы, сбегавшей сверху, поразил его в ту часть сруба, которая уже находилась под водой, и, в неизбежном результате, с непобедимой силой швырнул меня на снасти чужого корабля.

Когда я падал, корабль поднимался на штаги и поворачивался на другой галс; замешательство, происшедшее благодаря этому, и было, по-видимому, причиной того, что судовая команда не обратила на меня никакого внимания. Без особых затруднений я прошел, незамеченный, к главному люку, который был полуоткрыт, и вскоре нашел удобный случай скрыться в трюме. Почему я так сделал, затрудняюсь сказать. Быть может, неопределенное чувство страха, овладевшее мной сперва при виде этих мореплавателей, обусловило мое желание скрыться. Я совсем не был расположен доверяться людям, в которых, при самом беглом взгляде, заметил столько черт новизны, чего-то возбуждающего сомнение и предчувствие. Я счел поэтому за лучшее устроить себе в трюме тайник, удалив с этой целью часть передвижных обшивных досок таким образом, что они давали мне достаточное убежище среди огромных ребер корабля.

Не успел я кончить свою работу, как шаги, раздавшиеся в трюме, принудили меня скрыться. Около моего убежища неверными и слабыми шагами прошел какой-то человек. Лица его я не мог различить, но обстоятельства позволили мне заметить общий его вид. На нем лежала несомненная печать дряхлости и преклонности. Колени его дрожали, и все тело колебалось под бременем долгих лет. Обращаясь к самому себе, он бормотал глухим и прерывающимся голосом какие-то слова на языке, которого я понять не мог, и стал копошиться в углу среди беспорядочной груды каких-то необычайного вида инструментов и обветшавших морских карт. Все его манеры представляли собой странную смесь: это была ворчливость вторичного детства и исполненная достоинства величавость бога. В конце концов он отправился на палубу, и я его больше не видал.

Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия, – ощущение, которое не поддается анализу; поучения минувших времен для него недостаточны, и я боюсь, что даже будущее не даст мне к нему никакого ключа. Для ума, подобного моему, последнее соображение является пагубой. Никогда, я знаю, что никогда мне не удастся узнать ничего относительно самой природы моих представлений. И все же нет ничего удивительного, если эти представления неопределенны, ибо они имеют свое начало в источниках совершенно новых. Новое чувство возникло – новая сущность присоединилась к моей душе.

Уже много времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого страшного корабля, и лучи моей судьбы, как я думаю, собрались в одну точку. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, самую природу которых я разгадать не в состоянии, они проходят предо мною, не замечая меня. Скрываться от них – крайнее безумие с моей стороны, ибо они не хотят видеть. Я только что прошел перед самыми глазами штурмана; не так давно я рискнул пробраться в собственную каюту капитана и достал оттуда материал, с помощью

которого я пишу теперь и записал все предыдущее. Время от времени я буду продолжать свой дневник. Правда, у меня нет никаких средств передать его миру, но я попытаюсь как-нибудь устроиться. В последнюю минуту я положу манускрипт в бутылку и брошу ее в море.

Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Являются ли такие вещи действием непостижимой случайности? Я рискнул выйти на палубу и, не обратив на себя ниczego внимания, улегся среди груды старых парусов на дне ялика. Размышляя о странностях моей судьбы, я совершенно бессознательно взял находившуюся здесь мазилку для смолы и стал мазать края только что сложенного лиселя, лежавшего около меня на бочонке. Лисель теперь выгнут и красуется на корабле, а случайные мазки сложились в слово «открытие».

За последнее время я сделал много наблюдений относительно строения судна. Хотя оно и хорошо вооружено, оно, как я думаю, не представляет собой военного корабля. Его снасти, конструкция и общее снаряжение являются живым отрицанием военных предприятий. Что корабль собой не представляет, мне легко понять, но что он из себя представляет – это, я боюсь, невозможно сказать. Не знаю, каким образом, но, внимательно рассматривая его необычайную форму и странный характер его мачт, его гигантский рост и чрезмерный запас парусин, его нос, отличающийся строгой простотой, и старинную обветшавшую корму, я чувствую, что в моем уме возникают вспышки смутных ощущений, говорящих мне о знакомых вещах, и с этими неясными тенями прошлого всегда смешиваются необъяснимые воспоминания о древних чужеземных летописях и давно прошедших веках.

Я внимательно освидетельствовал ребра корабля. Он выстроен из материала, мне неизвестного. В характере дерева есть какие-то поразительные особенности, делающие его, как мне думается, негодным для целей, к которым он был предназначен. Я разумею его крайнюю ноздреватость, причем беру ее независимо от тех червоточин, которые неразрывны с плаванием по этим морям, и независимо от гнилости, которую нужно отнести на счет его возраста. Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком утонченным, но мне хочется сказать, что это дерево имело бы все отличительные особенности испанского дуба, если бы испанский дуб мог быть растянут какими-нибудь неестественными средствами.

Перечитывая предыдущие строки, я невольно припоминаю остроумное изречение одного голландского мореплавателя, старого бывалого моряка. «Это верно, – имел он обыкновение говорить, когда кто-нибудь высказывал сомнение в правде его слов, – это так же верно, как то, что есть море, где самый корабль увеличивается в росте, как живое тело моряков».

Около часа тому назад я дерзнул войти в толпу матросов, находившихся на палубе. Они не обратили на меня никакого внимания, и, хотя я стоял среди них, в самой середине, они, казалось, совершенно не сознавали моего присутствия. Подобно тому старику, которого я впервые увидел в трюме, все они носят на себе печать седой старости. Их слабые колени дрожат; их согбенные плечи свидетельствуют о престарелости; их сморщенная кожа шуршит под ветром; их голоса глухи, неверны и прерывисты; в их глазах искрится слезливость годов; и седые их волосы страшно развеваются под бурей. Вокруг них, на палубе, везде разбросаны математические инструменты самой причудливой архаической формы.

Я упомянул несколько времени тому назад, что лисель был водружен на корабле. С этого времени корабль, как бы насмехаясь над враждебным ветром, продолжает свое страшное шествие к югу, нагромодив на себя все паруса; он увешан ими с клотов до нижних багров и ежеминутно устремляет свои брамреи в самую чудовищную преисподнюю морских вод, какую только может вообразить себе человеческий ум. Я только что оставил палубу, я не мог там

держаться на ногах, хотя судовая команда, по-видимому, не ощущает ни малейших неудобств. Мне представляется чудом из чудес, что вся эта громадная масса нашего корабля не поглощена водою сразу и безвозвратно. Нет сомнения, мы присуждены беспрерывно колебаться на краю вечности, не погружаясь окончательно в ее пучины. С волны на волну, из которых каждая в тысячу раз более чудовищна, чем все гигантские волны, когда-либо виденные мной, мы скользим с быстрой легкостью морской чайки; и исполинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин, но подобно демонам, которым дозволено только угрожать и воспрещено разрушать. То обстоятельство, что мы постоянно ускользаем от гибели, я могу приписать лишь одной естественной причине, способной обусловить такое явление. Я должен предположить, что корабль находится в полосе какого-нибудь сильного потока или могучего подводного буксира.

Я встретился с капитаном лицом к лицу, в его собственной каюте, но, как я ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. Хотя для случайного наблюдателя в его наружности не было ничего, что могло бы свидетельствовать о нем больше или меньше, чем о человеке, однако я не мог не смотреть на него иначе, как с чувством непобедимой почтительности и страха, смешанного с изумлением. Он почти одинакового со мной роста, т. е. около пяти футов и восьми дюймов. Он хорошо сложен, не очень коренаст и вообще ничем особенным не отличается. Но в выражении его лица господствует что-то своеобразное; это – неотрицаемая, поразительная, заставляющая дрогнуть очевидность преклонного возраста, такого глубокого, такого исключительного, что в моей душе возникает чувство – ощущение несказанное. На лбу у него мало морщин, но на нем лежит печать, указывающая на мириады лет. Его седые волосы – летописи прошлого, его беловато-серые глаза – сибиллы будущего. Весь пол каюты был завален странными фолиантами, заключенными в железные переплеты, запыленными научными инструментами и архаическими картами давно забытых времен. Он сидел, склонив свою голову на руки, и беспокойным огнистым взором впивался в бумагу, которую я принял за государственное повеление и на которой, во всяком случае, была подпись монарха. Он бормотал про себя – как это делал первый моряк, которого я видел в трюме, – какие-то глухие ворчливые слова на чужом языке; и, хотя он был со мною рядом, его голос достигал моего слуха как бы на расстоянии мили.

Корабль, вместе со всем, что есть на нем, напоен духом древности. Матросы проскользают туда и сюда, подобно призракам погибших столетий; в их глазах светится беспокойное нетерпеливое выражение; и когда, проходя, я вижу их лица под диким блеском военных фонарей, я чувствую то, чего не чувствовал никогда, хотя всю жизнь свою я изучал мир древностей и впитал в себя тени поверженных колонн Баальбека, и Тадмора, и Персеполиса, пока наконец моя собственная душа не стала руиной.

Когда я смотрю вокруг себя, мне стыдно за свои прежние предчувствия. Если я трепетал при виде бури, которая донныне сопровождала нас, не должен ли я приходить теперь в ужас при виде борьбы океана и ветра, по отношению к которой слова шквал и самум кажутся пошлыми и бесцветными? В непосредственной близости от корабля висит мрак черной ночи и безумствует хаос беспennых вод; но приблизительно на расстоянии одной лиги от нас, с той и с другой стороны, виднеются, неясно и на разном расстоянии, огромные оплоты изо льда, возносящиеся в высь безутешного неба и кажущиеся стенами Вселенной.

Как я предполагал, корабль находится в полосе течения, если только это название может быть применено к могучему морскому приливу, который с ревом и с грохотом, отражаемым белыми льдами, мчится к югу с поспешностью, подобной безумному порыву водопада.

Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию, к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной, и достижение которой есть смерть. Быть может, это течение влечет нас к Южному полюсу. Я должен признаться, что это предположение, по-видимому такое безумное, имеет в свою пользу все вероятия.

Судовая команда бродит по палубе беспокойными неверными шагами; но в выражении этих лиц больше беспокойства надежды, нежели равнодушия отчаяния.

Между тем ветер все еще бьется в нашу корму, и так как развевается целая масса парусов, корабль временами приподнимается из моря! О, ужас ужасов! – лед внезапно открывается справа и слева, и мы с головокружительной быстротой начинаем вращаться по гигантским концентрическим кругам, все кругом и кругом по окраинам исполинского ледяного полукруга, стены которого вверху поглощены мраком и пространством. Но у меня нет времени размышлять о моей участи! Круги быстро суживаются – с бешеным порывом мы погружаемся в тиски водоворота – и среди завываний океана, среди рева и грохота бури корабль содрогается, и – боже мой – он идет ко дну!

Примечание. Рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке» был первоначально опубликован в 1831 г., но лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых изображено, что океан устремляется в Северный полярный водоворот четырьмя потоками, дабы затем быть поглощенным в недрах земли. Сам полюс изображен в виде черной скалы, вздымающейся на чудовищную высоту.

Береника

*Dicebant mihi sociales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas
aliquantulum fore levatas.
Ebn Zaiat²*

Несчастье многообразно. Земное горе является в видах бесчисленных. Обнимая обширный горизонт, подобно радуге, блещет оно столь же разнообразными, столь же яркими, столь же ослепительными красками! Обнимая обширный горизонт, подобно радуге! Как мог я красоту сделать мерой безобразия, знаменье мира – подобием скорби! Но как в области нравственной зло является следствием добра, так из радости родится скорбь. Скорбь настоящего дня – или воспоминание о минувшем блаженстве, или мука смертная, рожденная восторгом, который мог быть.

Я хочу рассказать повесть, полную ужаса; я охотно скрыл бы ее вовсе, если бы не была она летописью не столько дел, сколько чувств.

Я крещен Эгеем, а об имени рода своего умолчу. Но в нашей местности нет здания древнее моего угрюмого, серого родового замка. Издревле наш род слыл родом ясновидящих; и многие особенности в замке, в стенной живописи главной залы, в занавесах спален, в резных украшениях оружейной, а главное, в галерее старинных картин, в устройстве книгохранилища и подборе книг – оправдывали эту славу.

Воспоминания моего раннего детства связаны с этой комнатой и с ее томами, о которых я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но и говорить нечего, что я жил раньше, что душа уже существовала в другой оболочке. Вы отрицаете это? Не буду спорить. Веря сам, я не стараюсь уверить других. Но есть воспоминание о воздушных формах, о неземных и глубоких очах, о певучих грустных звуках – воспоминание неизгладимое, изменчивое, непостоянное, смутное и зыбкое, как тень.

И как тень – оно со мной не расстанется, пока будет светить солнце моего разума.

В этой комнате я родился. Неудивительно, что, пробудившись после долгой ночи, расставшись с сумраком того, что казалось небытием, и вступив в волшебное царство светлых видений, в чертог воображения, в суровые владения отшельнической мысли и учености, я глядел вокруг себя глазами изумленными и жадными, проводил детство за книгами, а юношеские годы в мечтах. Но то удивительно, что с годами, когда расцвет мужества застал меня в замке предков моих, источники жизни моей точно иссякли, и полный переворот произошел в природе моего мышления. Явления существенного мира действовали на меня, как призраки и только как призраки, а дикие грезы воображения сделались не только содержанием моей повседневной жизни, но и самой этой жизнью, в ее существе.

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы росли вместе в отеческом доме. Но росли не одинаково: я – болезненный и погруженный в меланхолию; она – веселая, легкая, полная избытком жизни. Ей – блуждания по холмам, мне – труды в монашеской келье. Я – поглощенный жизнью сердца своего, душой и телом прикованный к упорным и тягостным помыслам; она – беспечно отдающаяся жизни, не заботясь о тенях на пути своем, о безмолвном полете крылатых часов. Береника! – я произношу имя ее – Береника! – и при этом звуке из серых развалин памяти возникает смутный рой видений! Образ ее восстает предо мною так же ясно,

² Мне говорили товарищи, что если я навещу могилу подруги – горе мое облегчится. *Ибн Зайат (лат.).*

как в былые дни ее безоблачного счастья. О, величавая и сказочная прелесть! О, сильфы³ Арнгеймских⁴ роцц! О, наяда тех ручьев! А потом, потом – всё тайна и ужас, повесть, которая не хочет быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, настигла ее как смерч; на глазах у меня дух перемены веял над нею, захватывая ум ее, привычки, движения и разрушая, неуловимо и ужасно, самое тождество личности ее! Увы! разрушитель приходил, уходил! а жертва, что с ней случилось? Я не узнавал ее, или, по крайней мере, не узнавал в ней Беренику!

В длинной веренице болезней, следовавших за этим роковым и первоначальным недугом, так страшно изменившим телесно и духовно двоюродную сестру мою, заслуживает упоминания одна, самая плачевная и упорная: род падучей, нередко приводившей к столбняку, очень близко напоминавшему подлинную смерть, за которым следовало пробуждение, большей частью внезапное. Тем временем моя собственная болезнь еще быстрее развивалась и наконец приняла характер новой и необычайной мономании, усилившейся не по дням, а по часам – и получившей надо мной непонятную власть. Эта мономания – если можно так назвать ее – состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называются *вниманием*. По всей вероятности, меня не поймут; и я боюсь, что мне так и не удастся сообщить обыкновенному читателю точное представление о той болезненной *напряженности внимания*, с которой мои умственные способности (избегая языка научного) увлекались и поглощались созерцанием самых обыкновенных явлений внешнего мира. Размышлять по целым часам над какой-нибудь вздорной фигурой или особенностью шрифта в книге; проводить лучшую часть летнего дня в созерцании причудливой тени на обоях или на полу; следить целую ночь, не спуская глаз, за пламенем лампы или искрами в камине; грезить по целым дням над благоуханием цветка; повторять какое-нибудь самое обыкновенное слово, пока, от частого повторения, оно не перестанет вызывать какую бы то ни было мысль в уме; утрачивать всякое сознание движения или физического существования в совершенном телесном покое, упорном и длительном, – вот некоторые из самых обыкновенных и наименее губительных причуд, вызванных этим состоянием души, быть может, не беспримерным, но, во всяком случае, недоступным исследованию или объяснению. Сделаю, однако, оговорку во избежание недоразумений. Это бесцельное, пристальнейшее и мучительнейшее внимание, возбуждаемое ничтожными предметами, не следует смешивать со способностью забываться в размышлениях, свойственной всем вообще людям, а в особенности тем, кто одарен воображением пламенным. Оно не было, как может казаться с первого взгляда, крайним проявлением той же способности; оно существенно и в самой основе отличалось от нее. Мечтатель или энтузиаст, увлекшись каким-нибудь предметом, большей частью не ничтожным, незаметно теряет его из виду в вихре мыслей и выводов, и в конце этого сна наяву, *часто исполненного роскошных видений*, убеждается, что *incitamentum*, или первая причина его размышлений, совершенно забыта и стерта. Мое же внимание *всегда* привлекал *ничтожный* предмет, правда, принимавший неестественные размеры в моих болезненных мечтах. Я не делал никаких выводов или делал очень немногие – и они упорно вращались около первоначального предмета. Мысли мои *никогда* не были отрадными, и при конце моих грез первая причина не только не исчезала, но приобретала неестественное значение, представлявшее главную отличительную черту болезни моей. Словом, у меня действовала главным образом сила *внимания*, а не способность *умозрительная*, как у мечтателя.

Мое тогдашнее чтение если не усиливало недуг, то, во всяком случае, своей фантастичностью и непоследовательностью соответствовало этому недугу. Припоминаю, в числе других книг, трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона⁵ «De Amplitudine Beati Regni

³ Сильфы – по средневековым поверьям, духи воздуха.

⁴ Арнгейм – город в Голландии, на правом берегу Рейна. Известен живописностью окружающего ландшафта.

⁵ Курион Целий Секундус (1503–1569) – итальянский писатель, гуманист. Автор книги «О величии блаженного Царства

Dei»⁶; великое творение блаж. Августина⁷ «О государстве Божиим» и Тертуллиана⁸ «De Carne Christi»⁹, парадоксальное изречение которого: «Mortuus est Dei filius; crebibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»¹⁰ – стоило мне многих недель упорного, но бесплодного размышления.

Таким образом, рассудок мой, равновесие которого постоянно нарушалось самыми пустыми вещами, стал походить на утес, описанный Птоломеем Гефестионом¹¹, утес, который упорно противостоит человеческому насилию и еще более свирепому бешенству волн и ветра и дрожит только от прикосновения цветка, называемого златоцвет¹². И хотя поверхностный человек может подумать, что изменения, порожденные болезнью в духовном существе Береники, часто служили предметом для той болезненной и упорной мечтательности, чью природу я старался уяснить, – но в действительности этого не было. Правда, в минуты просветления, во время перерывов моей болезни, несчастье ее мучило меня, и, принимая глубоко к сердцу гибель этой светлой и прекрасной жизни, я часто и горько размышлял над причинами такой странной и внезапной перемены. Но мысли эти не имели ничего общего с болезнью моей и ничем не отличались от мыслей, которые явились бы у всякого при подобных обстоятельствах. Сообразно своей природе, моя болезненная мечтательность останавливалась на менее важных, но более разительных телесных изменениях, которыми сопровождалась болезнь Береники.

В дни расцвета ее несравненной прелести я, без сомнения, не был влюблен в нее. По болезненной странности моей природы, чувства мои *никогда не были* чувствами сердца, и страсти мои всегда были отвлеченными. В полусвете раннего утра, в причудливых тенях леса, в тиши моей библиотеки она реяла перед моими глазами, и я видел ее – не живую, дышащую Беренику, а Беренику-тень; не земное, плотское существо, а *отвлеченность* этого существа; предмет не восхищения, а исследования; не любви, а сложных и бессвязных помыслов. *Ныне же, ныне* я дрожал в ее присутствии и бледнел от близости ее; и, горько сокрушаясь о смертельном недуге ее, вспоминал, что она любила меня давно и что в недобрый час я предложил ей руку.

Приближался день нашей свадьбы, когда однажды зимою, под вечер, в один из тех необычайно теплых, тихих и туманных дней, которые называются кормилицами прекрасной Альционы¹³, я сидел (и сидел, кажется, один) в библиотеке. Но, подняв глаза, увидел пред собою Беренику.

Расстроенное ли воображение мое, или туманный воздух, или обманчивый полусвет сумерек, или серая одежда, ниспадавшая вокруг ее тела, придавали ей такие неясные, зыбкие очертания.

Божия» (1554).

⁶ «О величии блаженного царства Божия» (лат.).

⁷ Августин Аврелий (прозванный Блаженным; 354 – 430) – христианский богослов, Отец Церкви. Епископ г. Гиппон (Северная Африка), родоначальник христианской философии истории (соч. «О граде Божиим»); «земному граду» – государству противопоставлял мистически понимаемый «град Божий» – церковь.

⁸ Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160–200) – христианский богослов и писатель. Подчеркивая пропасть между библейским Откровением и греческой философией, утверждал веру именно в силу ее несоизмеримости с разумом. Цитируется изречение, взятое из его книги «О пресуществлении Христа».

⁹ «О теле Христовом» (лат.).

¹⁰ «Умер Сын Божий, это достойно веры, потому что нелепо; и погребенный воскрес, это достоверно, потому что невозможно» (лат.).

¹¹ Птоломей Гефестион – Птоломей Клавдий (ок. 90 – ок. 160), древнегреческий ученый: математик, астроном и географ, живший в Александрии.

¹² Златоцвет – род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В древности считался цветком смерти.

¹³ «Юпитер посылает зимою два раза по семи теплых дней, и люди называли это мягкое теплое время кормилицей прекрасной Альционы (Альциона – в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в зимородка – птицу, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солнцестояния, когда море в течение двух недель бывает совершенно спокойно.)». Симонид (Симонид Кеосский (556 – ок. 469 до н. э.) – древнегреческий поэт-лирик.).

Она молчала, а я... я не мог бы выговорить слова ни за что в мире. Леденящий холод пробежал по телу моему; чувство невыносимой тревоги томило меня; пожирающее любопытство переполнило душу мою; и, откинувшись на спинку стула, я несколько времени сидел, не шевелясь, затаив дыхание и не спуская глаз с Береники. Увы, как она исхудала, никаких следов прежнего существа не оставалось хотя бы в одной черте ее облика. Наконец, мои пламенные взоры остановились на ее лице.

Лоб был высокий, бледный и необычайно ясный; прядь волос, когда-то черных, свешивалась над ним, бросая тень на впалые виски, с бесчисленными мелкими локонами, теперь ярко-желтыми и представлявшими своей странностью резкую противоположность печальному выражению лица. Глаза без жизни, без блеска казались лишенными зрачков, и я невольно перевел взгляд на тонкие, искривленные губы. Они разомкнулись; и зубы изменившейся Береники медленно выступили передо мною в улыбке загадочной. Лучше бы мне никогда не видеть их или, увидев, умереть!

Звук затворившейся двери заставил меня встрепенуться, и, оглянувшись, я увидел, что моя кухня оставила комнату. Но беспорядочную комнату ума моего не оставил, увы! и не мог быть изгнан из нее бледный и зловещий *призрак* зубов. Ни единого пятнышка на их поверхности, ни одной тени на эмали, ни одной зазубринки на краях – все это запечатлелось в памяти моей в короткий промежуток улыбки ее. Я видел их *теперь* даже отчетливее, чем *тогда*. Зубы! зубы! Они были здесь, и там, и всюду предо мною; длинные, узкие, необычайно белые, окаймленные линией губ, как в ужасный миг появления. Безумье мое превратилось в бешенство, и тщетно боролся я со странным и неодолимым действием его. В бесчисленных предметах внешнего мира я видел только зубы. По ним я тосковал безумно. Все другие явления, все другие чувства исчезли в этом вечном созерцании зубов. Они... они одни носились перед моими духовными очами; на них сосредоточилась вся моя духовная жизнь. Их видел я при всевозможных освещенностях, во всевозможных сочетаниях. Я определял их свойства. Различал особенности. Размышлял об их строении. Думал об изменениях в природе их. Содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать. О мадемуазель Салль¹⁴ говорили, *que tous ses pas etaient des sentiment*¹⁵, а о Беренике я серьезно думал, *que tous ses dents etaient des idees. Des idees!*¹⁶ А, так вот сумасшедшая мысль, смутившая меня! *Des idees*, – а, *так вот почему* я безумно стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими могло вернуть мне покой, восстановить мой рассудок.

Так кончился для меня вечер, и наступила тьма и рассеялась; и вновь забрезжил день, и тень следующей ночи сгушалась вокруг, а я все еще сидел недвижно в моей одинокой келье, все еще сидел, погруженный в думы, и *призрак* зубов по-прежнему реял надо мною с изумительной и отвратительной ясностью. Наконец, крик ужаса и отчаяния прервал мою грезу; за ним последовал гул тревожных голосов вперемежку с тихими стонами скорби или боли. Я встал и, отворив дверь, увидел в соседней комнате девушку-служанку, которая со слезами сообщила мне, что Береника скончалась! Припадок эпилепсии случился рано утром, а теперь, с наступлением ночи, гроб уже готов был принять жилища своего, и все приготовления к погребению были сделаны.

Я сидел в библиотеке, и по-прежнему сидел в ней один. Казалось, что я только что очнулся от смутного и страшного сна. Я знал, что теперь была полночь и что с закатом солнца Беренику похоронили. Но о коротком промежутке времени между этими двумя мгновениями

¹⁴ Салль Мари (1707–1756) – французская балерина.

¹⁵ Что все шаги ее суть чувства (*фр.*).

¹⁶ Что все ее зубы суть мысли! (*фр.*)

я не имел ясного представления. А между тем в памяти моей хранилось что-то ужасное, – вдвойне ужасное по своей неясности, вдвойне страшное по своей двусмысленности. То была безобразная страница в летописи моего существования, исписанная тусклыми, отвратительными и непонятными воспоминаниями. Я старался разобрать их – напрасно; в ушах моих, точно отголосок прекратившегося звука, без умолку раздавался резкий и пронзительный крик женщины. Я сделал что-то, но что я сделал? Я громко задавал себе этот вопрос, и эхо комнаты шепотом отвечало мне! *Что я сделал?*

На столе передо мной горела лампа, а подле нее лежал маленький ящик. В нем не было ничего особенного, и я часто видал его раньше, так как он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал сюда, на мой стол и почему я дрожал, глядя на него? Все это оставалось для меня необъяснимым. Случайно мой взгляд упал на развернутую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были странные, но простые слова поэта Эбн Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore lecatas». Почему же, когда я прочел их, волосы поднялись дыбом на моей голове и кровь застыла в жилах?

Кто-то тихонько постучал в дверь, и вошел слуга, бледный, как жилец могилы. Взор его помутился от ужаса, он что-то говорил дрожащим, тихим голосом. Что сказал он? Я слышал отрывочные слова. Он говорил о диких криках, возмущивших тишину ночи, о собравшейся дворне, о поисках в направлении, откуда раздался крик; и голос его стал пронзительно ясен, когда он шептал об оскверненной могиле, об обезображенном теле, еще дышавшем, еще трепещущем, *еще живом*.

Он указывал на мое платье; оно было в грязи и в крови. Я ничего не отвечал, и он тихонько взял меня за руку: на ней были следы человеческих ногтей. Он указал мне на какой-то предмет, стоявший у стены; я взглянул, это был заступ! Я с криком кинулся к столу и схватил ящичек. Но я не мог открыть его; он выскользнул из рук моих, упал, разбился на куски, и из него со звоном выкатились инструменты зубного врача и тридцать два маленьких, белых, точно из слоновой кости, предмета, рассыпавшиеся по полу.

Лигейя

*Тут воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и ее силу?
Сам Бог – великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам,
ни самой смерти, если бы не слабость его воли!*
Джозеф Гленвилл¹⁷

Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда, ни даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесенных мною страданий. Или, быть может, я потому не могу *теперь* вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, ее редкие познания, ее особенная и ясная красота, упоительное красноречие ее сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в мое сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Но, кажется, впервые я встретил ее и часто потом встречал в каком-то большом, старинном, ветшающем городе на Рейне.

Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность ее происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!

Лигейя! Погруженный в занятия, которые по самой природе своей как нельзя более способны заглушить все впечатления внешнего мира, я одним этим словом – Лигейя – вызываю перед моими глазами образ той, которой уже нет. И теперь, когда я пишу, у меня вспыхивает воспоминание о том, что *я никогда не знал* родового имени той, которая была моим другом и невестой, участницей моих занятий и, наконец, моей возлюбленной женой. Было ли то прихотью моей Лигейи или доказательством силы моей страсти, не интересовавшейся этим вопросом? Или, наконец, моим собственным капризом, романтическим жертвоприношением на алтарь страстного обожания? Я лишь смутно припоминаю самый факт, мудро ли, что я забыл, какие обстоятельства породили или сопровождали его? И если правда, что дух, называемый *Возвышенным*, если правда, что бледная, с туманными крылами, *Аишофет* языческого Египта председательствовала на свадьбах, сопровождавшихся зловещими предзнаменованиями, то, без всякого сомнения, она председательствовала и на моей.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего моя память не ошибается. Это *наружность Лигейи*. Она была высокого роста, стройна, а впоследствии даже несколько худощава. Тщетны были бы попытки описать ее величавую осанку, спокойную вольность движений, неизъяснимую стройность и мягкость походки. Она являлась и исчезала как тень. Когда она входила в мой кабинет, я узнавал о ее появлении только по сладкой музыке нежного грудного голоса ее или по прикосновению к моему плечу мраморной руки ее. Прелестью лица никакая девушка не могла бы сравниться с нею. Это было лучезарное сновидение, рожденное опием; воздушное и возвышающее душу сновидение, исполненное более волшебной красоты, чем сказочные сны, реявшие над дремотными душами дочерей Делоса. Но черты лица ее не представляли той условной соразмерности, которой мы совершенно напрасно приучились восхищаться в древних изваяниях язычников. «Нет красоты изысканной, – говорит Бэкон, лорд Веруламский, в своих совершенно справедливых рассуждениях о различных видах и *родах* красоты, – без некоторой *странности* в пропорциях». Но хотя я видел, что черты Лигейи не представляют классической правильности, хотя я сознавал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что в ней много «странного», однако я тщетно пытался найти эту неправильность и определить свое собственное представление о «странном». Я всматривался в очертания высокого бледного лба ее – он был безупречен; как холодно звучит это слово в применении к такому божественному величию! Кожа, не уступающая белизной чистейшей

¹⁷ Гленвилл Джозеф (1636–1680) – английский священник и философ. Автор трактата «Тщета догматики» (1661).

слоновой кости, величавая широта и безмятежность, легкие выступы над висками, и волосы, черные как вороново крыло, блестящие, рассыпавшиеся густыми, роскошными кольцами, к которым вполне подходил гомеровский эпитет «гиацинтовые»! Я всматривался в тонкие очертания носа ее – нигде, кроме изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же изумительно гладкая поверхность, тот же едва заметный намек на орлиный профиль, те же гармонически изогнутые ноздри – признак свободы духа. Я вглядывался в нежный рот ее. Вот где было истинное торжество небесной прелести – в великолепном изгибе короткой верхней губы, в сладострастной дремоте нижней, в смеющихся ямочках, в игре красок, которая говорила без слов, в зубах, отражавших с почти нестерпимым блеском каждый луч света, падавший на них, когда они открывались в спокойной и ясной, но лучезарнейшей из всех улыбок. Я вглядывался в подбородок ее.

И здесь находил я эллинскую прелесть, нежность и величавость, полноту духовности, – тот облик, который бог Аполлон только во сне открыл Клеомену, сыну Клеомену, афинянину. Наконец, устремлял я взор в глубину огромных глаз ее.

Для глаз не нахожу я образца и в глубочайшей древности. Может быть, в глазах моей возлюбленной и скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Кажется, они были гораздо больше обыкновенных глаз человеческих, с более совершенным разрезом, чем у газелей долин Нурджахада. Но только иногда, в минуты возбуждения крайнего, особенность эта становилась поразительной. В эти-то минуты красота ее – по крайней мере, в пламенном воображении моем – была красотой сказочных гурий. Зрачки черно-блестящие оттенялись агатовыми ресницами длиннейшими. Брови, слегка неправильного очерка, такого же черного цвета. Но «*странность*», которую я находил в глазах ее, таилась не в очертании, не в цвете, не в блеске, а только *в выражении*. О, слово бессмысленное! Звук пустой! Неопределенность, за которую прячется наше непонимание духовности. Выражение глаз ее! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Сколько летних ночей провел без сна, стараясь измерить их глубину. Что же такое, более глубокое, чем колодец Демокрита, таилось в глазах моей возлюбленной? Что это? Я томился желанием разгадать эту тайну. Глаза ее! Эти огромные, сияющие, божественные зрачки! Они сделались для меня близнецами созвездия Леды, а я для них – звездочетом набожным.

Среди многих непонятнейших странностей в науке о духе нет более непонятной, более захватывающей, чем то, что, кажется, еще не отмечено школьным знанием, что, стараясь вспомнить что-либо давно забытое, мы часто находимся *на самом краю* воспоминания и все-таки не можем вспомнить. Так и я: сколько раз, в упорных усилиях мысли, я чувствовал, что вот-вот откроется мне тайна глаз ее, вот-вот откроется, но не открывалась и, наконец, совсем закрылась! И (странная, о, самая странная из тайн!) нередко я находил в обыкновеннейших явлениях сходство с этими глазами. Я хочу сказать, что после того, как прелесть Лигейи проникла в душу мою и воцарилась в ней, как в святилище, многие явления мира величественного вызывали во мне то же чувство, которое я всегда испытывал при виде ее широких, светлых зрачков. И тем не менее я не могу определить это чувство, или понять его, или исследовать. Но я испытывал его, глядя на быстро растущую виноградную лозу, на бабочку, на мотылька, на куколку, на струи водопада. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Во взглядах людей, достигших глубочайшей старости. Также одна или две звезды (особенно одна, шестой величины, двойная и переменная, близ большой звезды в созвездии Лиры) пробуждали во мне то же чувство, когда я рассматривал их в телескоп. Оно охватывало меня при известном сочетании звуков струнных инструментов и при чтении книг. Среди бесчисленных примеров помню одно место в книге Джозефа Гленвилла, которое (быть может, вследствие странности своей) всегда вызывало во мне это чувство: «Тут – воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и силу ее? Сам Бог есть великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».

Годы раздумий дали мне возможность установить отдаленную связь между этим замечанием английского мыслителя и некоторыми свойствами Лигейи. Может быть, *напряженность* мыслей ее, действий, слов была следствием или, по крайней мере, свидетельством той исполненной воли, которая во время наших долгих отношений не успела проявиться в чем-нибудь более действительном. Из всех женщин, которых я знал, она, Лигейя, такая спокойная, невозмутимая, была добычей самых безжалостных коршунов самой лютой страсти. Но силу этой страсти я мог измерить только по чудесному расширению глаз ее, пугавших и восхищавших меня, по небесной музыке, ясности, тихости глубокого голоса ее и по дикой силе странных слов, еще удвоенной противоречием с тихостью голоса.

Я упомянул о познаниях Лигейи; они были огромны, и таких я никогда не встречал в женщине. Она в совершенстве изучила древние языки, и я никогда не мог заметить у нее пробелов по части языков современных, насколько я сам с ними знаком. Да и в *какой* отрасли знаний, даже самых сложных и потому наиболее уважаемых школьной ученостью, замечал я пробелы у Лигейи? Как странно, как поражающе действовала на меня в последнее время именно эта черта в характере жены моей. Я сказал, что мне не случалось встречать женщину с такими познаниями, но где тот мужчина, который с успехом овладел *всеми* обширными сферами моральных, физических и математических знаний? Я не замечал в то время того, что вижу теперь ясно, — что познания Лигейи были огромны, изумительны; но чувствовал ее превосходство настолько, что подчинился с детской доверчивостью ее руководству в хаосе метафизических исследований, которыми усердно занимался в первые годы после нашей свадьбы. С каким торжеством, с каким жадным восторгом, с какой небесной надеждой я чувствовал — в то время, как она наклонялась надо мною при моих попытках проникнуть в область слишком мало затронутую, слишком мало исследованную, — что восхитительные дали мало-помалу открываются мне, что, устремившись по этому долгому, неизвестному пути, я достигну, наконец, высшей мудрости, слишком божественной, слишком драгоценной, чтобы не быть запретной!

И как язвительна была моя скорбь, когда, спустя несколько лет, увидел я, что мои надежды рассеялись. Без Лигейи я был ребенок, блуждающий во мраке оцупью. Только ее присутствие, ее толкование проливали свет жизни на тайны запредельных знаний, в которые мы углублялись. Не озаренная лучезарным блеском глаз ее, вся эта книжная мудрость, казавшаяся раньше светлой, как золото, становилась тусклой и тяжелой, как свинец. А глаза эти все реже и реже сияли над страницами, которые я изучал. Лигейя была больна. Странные глаза блестели слишком ярким блеском; в бледных пальцах была восковая прозрачность, цвет смерти, и голубые жилки на высоком лбу бились при малейшем волнении. Я видел, что она должна умереть, — и отчаянно боролся в душе с жестоким Азраилом. К моему удивлению, борьба ее была еще отчаянней. Сила духа ее позволяла мне надеяться, что смерть придет к ней без ужасов своих, но не то оказалось на деле. Слова не могут выразить, как свирепо боролась она с Тенью. Я стонал при виде этого жалкого зрелища. Пытался утешать, убеждать, но для ее неутолимого желания жить, жить — *только жить* — все утешения, все доводы разума были верхом безумия. И до последней минуты, в борениях и судорогах дикого духа ее, лицо ее сохраняло безмятежное спокойствие. Слова ее звучали все нежнее, все тише и тише, но я не смел задумываться над странным значением этих спокойно сказанных слов. Голова моя кружилась, когда я в восторге внимал этой сверхчеловеческой музыке, этим дерзновениям и чаяниям, которых никогда еще не ведали смертные.

В ее любви не сомневался я, а любовь такой женщины не могла быть обычной страстью. Но только смерть открыла мне всю бесконечность этой любви. Целыми часами, рука об руку, она изливала предо мной избыток сердца своего, полного страстью боготворящею. Чем заслужил я блаженство слушать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в минуту таких признаний? Но я не в силах говорить об этом. Скажу только, что в слишком женской страсти Лигейи — страсти мной незаслуженной, увы, дарованной мне,

недостойному, – я усмотрел наконец причину ее безумного сожаления о жизни, убегавшей так быстро. Это дикое алкание, это лютое желание жизни – только жизни – я не в состоянии описать, не в силах выразить.

В глубокую полночь – в ночь ее кончины – она подозвала меня и велела прочесть стихи, сочиненные ею несколько дней назад. Я прочел. Вот они:

«Вот он! Последний праздник! Толпа крылатых ангелов в трауре, в слезах, собралась в театр, посмотреть на игру надежд и страха, меж тем как оркестр исполняет музыку сфер.

Скоморохи, носящие образ вышнего Бога, ворчат и бормочут, снуют туда и сюда; это простые куклы, они приходят и уходят по повелению безликих существ, что реют над сценой, разливая со своих орлиных крыльев невидимое горе.

Жалкая драма! О, будь уверен, она не забудется! За ее призраком вечно будет гнаться толпа, никогда не овладевая им, в безвыходном кругу, который вечно возвращается на старое место; и много безумия, и еще более греха и ужаса в этой трагедии.

Но взгляни, в толпу гаеров крадется что-то ползучее, что-то красное, – извивается, корчится, грызет и пожирает гаеров, – и серафимы рыдают, видя, как червь упивается человеческою кровью.

Гаснут... гаснут... гаснут... огни! И на дрожащие образы падает занавес, погребальный саван, и ангелы встают, бледные, истомленные, и говорят, что зрелище это – трагедия “Человек”, а герой – “Победитель Червь”».

– Боже, – воскликнула Лигейя, вставая и поднимая руки с судорожным усилием. – Боже! Отец Небесный! Неужели это будет длиться вечно? Неужели червь победитель не будет побежден? Разве мы не часть Твоя? Кто, кто познал тайны воли и силу ее? Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его.

И как будто изнеможенная этим усилием, она опустила свои белые руки и торжественно вернулась на ложе смерти. И, когда она выпускала последний вздох, он сливался с тихим шепотом уст ее. Я наклонил к ним ухо и снова услышал слова Гленвилла: *«Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его»*.

Она умерла, а я, раздавленный горем, не мог выносить угрюмого одиночества в доме моем, в старом, разрушающемся городе на Рейне. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем обыкновенно выпадает на долю смертных. После нескольких месяцев тоскливого и бесцельного шатания я купил аббатство в одном из самых диких и безлюдных уголков веселой Англии. Угрюмое и холодное величие здания, полудикий вид местности, мрачные легенды, связанные с тем и другим, согласовались с безотрадным чувством, загнавшим меня в эту глухую пустыню. Оставив в прежнем виде внешность этого ветхого здания, поросшего мхом и травами, я с ребяческим своеобразием и, может быть, с тайной надеждою рассеять тоску свою принялся убирать внутренность дома с царственной роскошью. Я еще в детстве питал страсть к таким причудам, теперь она возродилась во мне, точно я поглупел от горя. Увы, я чувствую, какие ясные признаки начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и сказочных завесах, в торжественных египетских изваяниях, в причудливых карнизах и мебели, в нелепых узорах затканых золотом ковров! Я стал рабом опиума, и мои распоряжения и занятия приняли окраску грез моих. Но не стану говорить об этих безумствах. Скажу только о той комнате, куда в минуту затмения мыслей я привел от алтаря мою молодую жену – преемницу незабвенной Лигейи, – золотокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион Тремен.

Вижу как сейчас эту свадебную комнату со всеми ее мелочами, со всеми украшениями. Куда девался рассудок вельможных родителей жены моей, когда, ослепленные блеском золота, они позволили ей, своей любимой дочери, переступить порог комнаты с таким убранством. Я сказал, что помню до мельчайших подробностей эту комнату, хотя я крайне забывчив на вещи гораздо большей важности, а в этой фантастической обстановке не было никакого порядка,

никакой системы, которая могла бы удержаться в памяти. Комната в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, была пятиугольной формы и обширных размеров. Вся южная сторона пятиугольника занята окном, состоявшим из одного огромного цельного венецианского стекла свинцовой окраски, так что лучи солнца и луны, проникая сквозь него, озаряли комнату зловещим, странным светом. Над верхней частью этого высокого окна вилась старая виноградная лоза, взбиравшаяся по массивным стенам башни. Потолок из темного дуба поднимался высоким сводом и был украшен причудливой резьбой полуготического, полудруидического стиля. В центре этого мрачного свода висела на золотой цепи, с длинными кольцами, кадильница, из того же металла, с мавританским узором и многочисленными отверстиями, расположенными так, что разноцветные огни беспрерывно выскальзывали, как змеи, то из одного, то из другого.

Оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе помещались в разных углах комнаты; здесь же находилось брачное ложе – в индийском стиле, низкое, черного дерева, резной работы, с балдахином, напоминавшим погребальный покров. Но главная фантазия заключалась, увы, в драпировках комнаты. Высокие, гигантские, даже непропорциональные стены были сплошь обиты плотной, тяжелой тканью, падавшей широкими складками. Из той же ткани был ковер, обивка кровати и оттоманок, балдахин и роскошные занавеси, отчасти закрывавшие окно. Ткань, богато затканная золотом, испещрена была арабесками в виде агатово-черных фигур, беспорядочно разбросанных. Но эти фигуры казались арабесками, только когда их рассматривали с известной точки. С помощью приспособления, ныне очень распространенного, которое можно проследить до глубокой древности, они были сделаны так, что постоянно меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они казались в первую минуту просто уродливым узором, но впечатление это скоро исчезало, и, подвигаясь дальше, посетитель видел вокруг себя бесконечное шествие зловещих образов, подобных тем, которые зарождались в норманнских суевериях или в грешном сне монахов. Это сказочное действие усиливалось током воздуха, постоянно колебавшим занавеси и придававшим всему отвратительную, беспокойную живость.

Вот в каком помещении, в каком брачном чертоге проводил я с леди Тремен счастливые первые месяцы нашего брака, проводил без всякой тревоги. Я не мог не заметить, что жена моя опасалась бурных порывов моего нервного характера, избегала меня и не питала ко мне особенно нежной страсти, но это доставляло мне скорее удовольствие, чем огорчение. Я сам ненавидел ее адской, нечеловеческой ненавистью. Мои воспоминания уносились назад (о, с каким глубоким раскаянием), к Лигейе, к ней, возлюбленной, святой, прекрасной, погребенной. Я забывался в воспоминаниях о чистоте ее, мудрости, возвышенности, о небесной природе ее и страстной, боготворящей любви. Теперь мой дух пылал еще сильнее пламенем, чем дух Лигейи. В горячке грез, порожденных опиумом (так как я почти постоянно находился под его влиянием), я громко призывал ее в ночной тиши или днем в уединенных долинах, точно дикая страсть, возвышенная сила чувства, пожирающий жар моей тоски по уснувшей могли вернуть ее на жизненный путь, покинутый, о, ужели навсегда ею покинутый?

Спустя месяц после нашей свадьбы леди Ровена поражена была внезапной болезнью, от которой оправлялась очень медленно. Лихорадка не давала ей покоя по ночам, и в тревожном полусне своем она говорила о звуках и шорохах в комнате, что я приписывал ее расстроенному воображению или, быть может, влиянию сказочной обстановки. Наконец она стала выздоравливать, и выздоровела. Но скоро новый, еще более сильный приступ болезни заставил ее вернуться на ложе страданий, и после этого нового приступа слабое тело ее уже никогда не могло вполне оправиться.

С течением времени припадки ее и неожиданное возвращение их приняли угрожающий характер, как бы издеваясь над знаниями и опытностью врачей. С усилением этой возвратной болезни, укоренившейся в теле ее так прочно, что человеческое искусство, по-видимому, не

могло изгнать ее, нрав ее также заметно изменился: усилились раздражительность и боязливость. Теперь она еще чаще говорила о звуках, слабых звуках и странных движениях среди драпировок комнаты.

Однажды ночью, в конце сентября, настойчивее, чем обыкновенно, старалась она обратить мое внимание на этот докучный предмет. Она только что очнулась от беспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха следил за ее исхудалым лицом. Я сидел подле постели на индийской оттоманке. Она приподнялась и говорила шепотом, с выражением глубокого убеждения, о звуках, которые она *теперь* слышит, а не о движениях, которые она теперь видит, а я не вижу. Ветер шелестел в завесах, и я старался убедить ее (но признаюсь, и сам *не вполне* верил этому), что эти чуть слышные вздохи и легкие изменения фигур на стенах – естественное следствие движения воздуха. Но смертная бледность, покрывшая лицо ее, доказала бесплодность усилий моих По-видимому, она готова была лишиться чувств, а поблизости не было слуг. Вспомнив, где стоит графин с легким вином, которое ей прописали врачи, я бросился за ним через комнату. Но когда я вступил в полосу света, падавшего от кадилъницы, два поразительных обстоятельства привлекли внимание мое. Я почувствовал, что кто-то невидимый, но осязаемый прошел мимо меня, и заметил на освещенном пространстве золототканого ковра тень, легкую, неясную тень ангела, как бы тень тени. Но, находясь под влиянием неумеренной дозы опиума, я не обратил внимания на эти явления и ни слова не сказал о них Ровене. Отыскав вино, я вернулся к постели и, наполнив бокал, поднес его к губам изнемогавшей леди. Впрочем, она уже оправилась и приняла от меня бокал, а я опустил на оттоманку, не спуская глаз с лица ее. В эту минуту услышал я легкие шаги по ковру близ кровати, и мгновение спустя, когда Ровена подносила бокал к губам, я увидел или мне померещилось, что в него упали, точно из невидимого источника в воздухе, три или четыре крупные капли сверкающей рубиново-красной жидкости. Я видел это, Ровена не видела. Она не задумываясь выпила вино, а я не стал говорить ей об этом странном явлении, решив, что оно было простым бредом моего расстроенного воображения, возбужденного ужасом больной, опиумом и поздним часом.

Но я не мог не заметить, что вслед за падением рубиновых капель состояние жены моей стало быстро ухудшаться, так что на третью ночь слуги уже приготавливали к погребению тело ее, а на четвертую я сидел перед окутанным в саван трупом в той же сказочной комнате, которая принимала новобрачную. Дикие, рожденные опиумом видения, подобно теням, реяли в глазах моих. Беспокойным взором смотрел я на саркофаги по углам, на изменчивые фигуры завес, на разноцветные огни кадилъницы над головой моей. Потом, вспомнив о странных явлениях той ночи, опустил глаза на освещенное пространство, где заметил легкие очертания тени. Теперь ее не было, и, вздохнув с облегчением, я устремил глаза на бледную окоченелую фигуру, лежащую на постели. Тут нахлынули на меня воспоминания о Лигейе, и в сердце моем пробудилась с неудержимой силой бурного потока несказанная скорбь, терзавшая меня, когда я увидел ее в саване. Часы летели, а я, с сердцем, полным горьких воспоминаний о бесконечно любимой, я все сидел, не сводя глаз с тела Ровены.

Около полуночи, а может быть, и раньше или позже, потому что я не следил за временем, тихое, слабое, но явственно слышное рыдание пробудило меня от моей задумчивости. Я чувствовал, что оно доносилось с ложа – с ложа смерти. Я прислушался в агонии суеверного ужаса, но звук не повторился. Я напрягал зрение, стараясь уловить хотя бы малейшее движение тела, но оно не шевелилось. А между тем я не мог ошибаться. Я слышал звук, хотя слабый, и душа моя встрепенулась от этого звука. Я решительно и упорно уставился на тело. Прошло несколько минут, но ничего не случилось, что могло бы разъяснить эту загадку. Наконец ясно увидел я, что на щеках трупа и вдоль жилок опущенных век выступила краска, легкая, бледная, чуть зримая. В припадке несказанного ужаса, для которого нет слов в языке человеческом, я почувствовал, что сердце мое перестало биться и члены отнялись.

Но чувство долга вернуло мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились: Ровена жива. Необходимо было немедленно принять какие-нибудь меры, но башня находилась в части замка, удаленной от помещения слуг, мне некого было кликнуть, пришлось бы оставить комнату на несколько минут, а на это я не мог решиться. Я попробовал один привести ее в чувство. Вскоре, однако, признаки жизни снова исчезли и румянец на щеках и на веках угас, уступив место мраморной бледности, губы еще более сжались и исказились зловещей гримасой смерти, кожа приобрела отвратительную ледяную скользкость, и снова труп окоченел. Я с ужасом отшатнулся от ложа и вновь предался страстным мечтам о Лигейе.

Прошел час, и опять – Боже великий! возможно ли это? – опять услышал я слабый звук, исходивший от ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук повторился; то был вздох. Бросившись к телу, я увидел – ясно увидел, – что губы его дрожат. Минуту спустя они разомкнулись, обнажив блестящий ряд жемчужных зубов. Теперь изумление боролось в душе моей с ужасом, который один переполнял ее раньше. Я чувствовал, что в глазах моих темнеет, рассудок мешается, и только страшным усилием воли я принудил себя взяться за дело, к которому призывал меня долг. Румянец появился на щеках, на лбу, на шее Ровены; теплота разлилась по всему телу; я чувствовал даже слабое биение сердца. Леди была жива, и я с удвоенной решимостью принялся приводить ее в чувство. Я тер и смачивал виски и руки ее, применял все меры, какие мог подсказать мне опыт и основательное знакомство с врачебной наукой. Все было тщетно. Внезапно румянец исчез, сердце перестало биться, губы приняли выражение, свойственное мертвому, и спустя мгновение труп оледенел, посинел и скорчился. Я снова предался мечтам о Лигейе и снова – мудрено ли, что я дрожу, вспоминая об этом, – снова легкое рыдание донеслось до слуха моего. Но зачем подробно описывать ужасы этой ночи? Зачем рассказывать, как снова и снова, до самого рассвета, повторялась эта чудовищная игра оживления; как всякий возврат к жизни кончался возвратом к еще более жестокой и неодолимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то невидимым врагом и как после каждой борьбы вид трупа странно изменялся. Тороплюсь кончить.

Ночь уже почти прошла, и мертвая снова зашевелилась – и сильнее, чем прежде, хотя перед этим состояние трупа казалось еще более безнадежным, чем раньше. Я давно уже перестал бороться и двигаться и сидел, прикованный к оттоманке, беспомощная жертва вихря бешеных чувств, среди которых чувство невыразимого страха было, пожалуй, наименее ужасным, наименее потрясающим. Повторяю, тело зашевелилось, и сильнее, чем прежде. Румянец жизни вспыхнул еще ярче на лице, члены ожили, и, если бы не опущенные веки, не саван, придававший телу мертвенный вид, я мог бы подумать, что Ровена стряхнула наконец узы смерти. Но если я все еще сомневался, то всякое сомнение исчезло, когда, поднявшись с ложа, шатаясь, шагами нетвердыми, с закрытыми глазами и видом лунатика существо, закутанное в саван, вышло на середину комнаты.

Я не вздрогнул, не пошевелился, потому что рой неизъяснимых впечатлений, связанных с наружностью, ростом, осанкой этого видения, сразил меня, превратил в камень. Я не шевелился, я смотрел не спуская глаз на видение. Бессвязные, безумные мысли роились в уме моем. Неужели это *живая* Ровена была предо мною? Неужели это Ровена? Златокудрая, голубоокая леди Ровена Тревенион Тремен? Почему же, *почему* я сомневался в этом? Тяжелая повязка давила губы ее – разве это не губы леди Тремен? А щеки – на них цвели розы, как в полдень жизни ее – да, без сомнения, эти щеки могли быть щеками леди Тремен. А подбородок с ямочками, как во дни ее здоровья, – отчего бы ему не быть ее подбородком? – да, но, значит, *она выросла со времени своей болезни?* Какое несказанное безумие овладело мной при этой мысли! Одним прыжком я очутился у ног ее! Она отшатнулась, освободила голову от страшного савана, который окутывал ее, и в веющем воздухе комнаты разметались густыми прядями

длинные-длинные волосы; *они были чернее вороновых крыльев полночи!* И медленно-медленно открылись глаза ее.

– Так вот они, наконец! – воскликнул я громким голосом. – Теперь я уже не могу ошибиться: вот они, огромные, черные, дикие глаза моей погибшей любви – леди, *леди Лигейи!*

Падение дома Эшеров

*Son coeur est un luth syspendu,
Sitot qu'on le touche il resonance.*
De Beranger¹⁸

Весь этот день – тусклый, темный, беззвучный осенний день – я ехал верхом по необычайно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которое вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу – на одинокий дом и угрюмые стены, на зияющие глазницы выбитых окон, чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев – с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии.

То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях; и воображение тщетно силилось настроить душу на более возвышенный лад. «Что же именно, – подумал я, – что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Эшера?» Я не мог разрешить этой тайны; не мог разобраться в тумане нахлынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим выводом, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас особым образом, но исследовать это влияние – задача непосильная для нашего ума. «Возможно, – думал я, – что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит столь гнетущее впечатление». Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным, мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые глазницы окон, отраженные в воде.

Тем не менее я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства; но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо – очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер описывал свои жестокие физические страдания, свое душевное расстройство, он хотел непременно повидать меня, своего лучшего, даже единственного, друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний; но, хотя я и последовал ему, оно все же казалось мне странным.

Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал своего друга очень мало. Крайняя замкнутость вошла у него в привычку. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древнему роду, представители которого с незапамятных времен отличались особенно тонкой восприимчивостью, – она сказывалась и в различных произведениях искусства, создававшихся Эшерами в течение многих веков и всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее – в щедрой, но отнюдь не навязчивой благотворительности и в страстной любви к музыке – скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также примечательный факт, что этот род при всей своей древности не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви; иными словами, что все его члены, за весьма немногими и случайными отклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я размыш-

¹⁸ Его сердце – висят люти. Коснешься – и она зазвучит. Беранже

лял об удивительном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову: не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединила эти последние, что первоначальное название усадьбы местные крестьяне заменили странным и двусмысленным прозвищем: Дом Эшеров, под которым они разумели как самих владельцев, так и их родовое поместье.

Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка приободриться, – заглянув в пруд, – только углубила первые впечатления. Не сомневаюсь, что мысль о каком-то суеверном страхе людей перед этим домом – почему не употребить мне слово «суеверный»? – усилила его воздействие. Таков – я давно убедился в этом – парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, появившаяся у меня, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу, – фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не свидетельствовала об осязавших меня ощущениях. Мне почудилось, будто и дом, и вся усадьба окружены совершенно особенной, только им присущей, тяжелой атмосферой, несколько не похожей на окружающий вольный воздух, словно над гниющими деревьями, ветхой стеной, молчаливым прудом стояли какие-то загадочные испарения – смутные, едва уловимые, но удушливые.

Страхнув с души все эти образы, которые, конечно, были бредом, я стал внимательно рассматривать сам дом. Прежде всего бросалась в глаза его глубокая древность. Века обесцветили его, наложив свою неизгладимую печать. Мох и плесень почти сплошь покрывали дом, свешиваясь косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась – тем более поражало несоответствие общей, уцелевшей во всех своих частях постройки с обветшалостью раскрошившихся кирпичей. Такой вид имеет иногда изъеденная годами старинная деревянная резьба в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, ничто не говорило о грозящем разрушении. И только очень внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая потом в мутных водах пруда.

Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в вестибюль. Отсюда лакей, неслышно ступая, провел меня по темным извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я уже говорил. Все это – резные потолки, темные обои, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, – было мне знакомо с детства; но, хотя я сразу узнал эти комнаты, столь знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он, видимо, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приезде.

Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна находились так высоко от черного дубового пола, что были совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и выемки сводчатого расписного потолка. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель была неудобной и ветхой. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Самый воздух, казалось, был напоен тоской. Угрюмая, бесконечная, безнадежная – висела она надо всем, пронизывала все.

Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал вытянувшись, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной и искусственной, как у светских людей, которым наскучило все на свете. Но, взглянув на него, я убедился в его пол-

ной искренности. Мы сели; с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Эшер! Я едва мог признать в этом изможденном создании друга моих детских игр. А между тем наружность его была примечательна. Мертвенно-бледная кожа; огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза; губы тонкие, бледные, но необычного рисунка; изящный еврейский нос с чересчур широкими ноздрями; маленький изящный подбородок, однако лишенный энергических очертаний (признак душевной слабости); мягкие волосы, тонкие-тонкие, как паутинки; лоб, расширяющийся над висками и необычайно высокий – такую наружность трудно забыть. Своеобразие этого лица и присущее ему выражение теперь обозначились еще отчетливее, – но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я даже усомнился, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина волос, очевидно, давно уже не знавших ножниц, обрамляла лицо легкими, словно парящими прядями и тоже придавала ему какой-то нездешний вид.

В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то судорожность, порывистость – следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но беспомощной и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь в этом роде не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых чертах его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно иссякали) сменялась стремительной уверенностью тона – отрывистого, резкого, не терпевшего возражений, и той грубоватой, веской и размеренной манерой говорить, с точными певучими модуляциями, какая бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.

Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный недуг, против которого, кажется, нет лекарства... «Нервное расстройство, – прибавил он поспешно, – которое, без сомнения, очень скоро пройдет само собою». Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, действовали и его манера рассказывать, и выразительность его слов. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только определенные ткани, не терпел запаха цветов; самый слабый свет раздражал его глаза, и лишь немногие звуки – только струнных инструментов – не внушали ему ужаса.

Оказалось также, что на него находят приступы беспричинного неестественного страха.

– Я погибну, – говорил он, – я *должен* погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне умереть. Я страшусь будущих событий; и не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, оттого что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение. Боюсь не самой опасности, а ее неизбежного следствия – ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком – страхом!

Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную болезненную черту: его преследовали суеверные представления, связанные с жилищем, в котором он провел безвыездно столько лет; мысль о каком-то влиянии, сущность которого он излагал так неясно, что смысл его слов было бы трудно передать. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы в течение многих лет мало-помалу приобрели странную власть над его душой: предметы чисто физического порядка – серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, – влияли на духовную сторону его существования.

Впрочем, он допускал, хоть и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, является следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, бывшей в течение многих лет его другом и товарищем, – единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире.

– После ее смерти, – продолжал он с горечью, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, – я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшеров.

Когда он говорил это, леди Магдалина (так звали его сестру) медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался какой-то страх. Почему? Я не могу этого объяснить. Пока я следил за ней глазами, меня охватило странное оцепенение. Наконец она исчезла за дверью. Я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые потекли горячие слезы.

Болезнь леди Магдалины давно уже приводила в недоумение врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хоть и кратковременные, явления каталептического характера – таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним и ни за что не хотела лечь в постель; но вечером, после моего приезда, все же слегла (брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью) – так что я, по всей вероятности, видел ее живой в последний раз.

В течение нескольких дней ни Эшер, ни я не упоминали ее имени. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали, читали, или я слушал, как во сне, его бурные импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась мне безнадежность всяких попыток развеять этот скорбный дух, который словно отбрасывал мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира.

Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные наедине с хозяином Дома Эшеров. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о тех занятиях, участником которых он делал меня. Беспредельная отвлеченность фантазии Эшера озаряла все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные музыкальные импровизации навсегда врезались мне в душу. Между прочим, мне мучительно запомнилась странная осложненная вариация на бурный мотив последнего вальса Вебера. Произведения живописи, создаваемые его изысканным воображением и с каждым мазком переходившие во что-то все более смутное, заставляли меня трепетать тем сильнее, что я не понимал причин подобного впечатления, – эти картины (хоть я как будто вижу их перед собой) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если смертный когда-либо живописал *мысль*, то этим смертным был Родерик Эшер. На меня – по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, – чисто абстрактные концепции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фюзели.

Одно из фантазмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного сводчатого коридора или туннеля, с низкими стенами, гладкими и белыми, без всяких впадин и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель лежал на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода, и не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, – а между тем поток ярких лучей струился в него, все затопляя зловещим и неестественно ярким светом.

Я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга, вследствие чего он не выносил никакой музыки, кроме звучаний некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной мере и обуславливала фантастический характер его импровизаций. Но легкость, с какой он сочинял свои *impromptus*¹⁹, не объясняется только этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточения, которые, как я уже говорил, наблюдаются у людей в минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Мне легко запомнились слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу: мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает – и притом впервые, – что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Вот слова этой песни – она звучала примерно так

В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,
Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой
Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл Серафим!

Бились знамена, горя, как огни,
Как золотое сверкая руно.
(Все это было – в минувшие дни,
Все это было давно.)
Полный воздушных своих перемен,
В нежном сиянии дня,
Ветер душистый вдоль призрачных стен
Вился, крылатый, чуть слышно звеня.

Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,
Духов, которым звучала струна,

Вкруг того трона, где высился он,
Багрянородный герой,
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной.

Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла, и плыла, и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только – славить его,

¹⁹ Экспромты, импровизации (*фр.*).

Петь, с поражающей слух красотой,
Мудрость и силу царя своего.

Но злые создания, в одеждах печали,
Напали на дивную область царя.
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
И вокруг его дома та слава, что прежде
Жила и цвела в обаянье лучей,
Живет лишь как стон панихиды надежде,
Как память едва вспоминаемых дней.

И путники видят, в том крае туманном,
Сквозь окна, залитые красною мглой,
Огромные формы, в движении странном,
Диктуемом дико звучащей струной.
Меж тем как, противные, быстрой рекою,
Сквозь бледную дверь, за которой Беда,
Выносятся тени и шумной толпою,
Забывши улыбку, хохочут всегда²⁰.

Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мысль, которую я отмечаю не вследствие ее новизны (многие высказывали то же самое²¹), а потому, что он защищал ее с необычайным упорством. Сущность этой мысли сводится к тому, что растительные организмы также обладают чувствительностью. Но его расстроенное воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенес ее до некоторой степени в неорганический мир. Не знаю, в каких словах выразить глубину и силу его утверждений. Все было связано (как я уже намекал) с серыми камнями обиталища его предков. Причины своей чувствительности он усматривал в самом размещении камней – в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное – в неподвижности и неизменности их сочетаний и также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда. «Доказательством этой чувствительности, – прибавил он, – может служить особая атмосфера (я невольно вздрогнул при этих словах), постепенно стусившаяся вокруг стен и над прудом». О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние, которое в течение столетий оказывала усадьба на характер его предков и на него самого, – ибо именно это влияние сделало его таким, каков он есть. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я воздержусь от них.

Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, соответствовали – да иначе и быть не могло – фантастическому складу его ума. Мы вместе читали «Вер-вер» и «Монастырь» Грессэ, «Бельфегора» Макиавелли, «Небо и Ад» Сведенборга, «Подземное путешествие Николая Климма» Хольберга, «Хиромантию» Роберта Флюда, Жана Д'Эндажинэ и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку листа, издание «Directorium Inquisitorium»²² доминиканца Эймерика де Жиронна; а над некоторыми отрывками из Помпония Мелы о древних африканских божествах гор, лесов и полей Эшер раздумывал часами. Но с наиболь-

²⁰ Перевод К. Бальмонта.

²¹ Уотсон, д-р Персиваль Спалланцани и в особенности епископ Ландаффа. См. «Очерки по химии», т. V.

²² «Руководство по инквизиции» (лат.).

шим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкую и любопытную книгу – готическое ин-кварти, служебник одной забытой церкви – «*Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae*»²³.

И я невольно вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов, находящихся под центральной частью дома. Я не считал возможным оспаривать это странное решение ввиду тех причин, которые мне привел мой друг. По словам Эше-ра, его побуждали к этому необычайный характер болезни и некоторые весьма странные и назойливые вопросы врачей, а также отдаленность и заброшенность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло возражать против этой, во всяком случае, безобидной предосторожности.

По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (его так долго не открывали, что наши факелы чуть мерцали в спертom воздухе и мы не могли осмотреть его обстоятельно), оказался тесным и сырым подвалом, куда свет не проникал, так как подвал помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. В Средние века он, без сомнения, служил тюрьмой, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты листами меди. Массивная дверь была обшита железом. Она тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный скрежещущий звук.

Опустив носилки с телом в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба, которая еще не была завинчена, и взглянули в лицо покойницы. И тут поразительное сходство брата и сестры впервые бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что они были близнецами и что между ними всегда существовала какая-то таинственная связь. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, характерные для каталептических заболеваний: слабую краску на груди и на щеках и ту особую томную улыбку, которая так ужасает нас, когда человек уже мертв. Мы завинтили крышку, заперли железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.

Прошло несколько горестных дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бесцельно бродил из комнаты в комнату торопливыми, нетвердыми шагами. Землистое лицо его приняло, если только это было возможно, еще более зловещий оттенок; но блеск его глаз померк; голос окончательно утратил резкость, которая иногда в нем появлялась, – теперь в нем неизменно слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам безумия, замечая, что он по целым часам сидит недвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение путало меня, даже передавалось мне. Я чувствовал, как влияние его диких, но заразных грез сказывается и на мне – медленно, но неотразимо.

Когда на седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины я ложился поздней ночью спать, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное состояние, старался

²³ «Бдения по усопшим, как их поет хор майнцкой церкви» (лат.).

убедить себя, что оно всецело – или, по крайней мере, в значительной степени – вызвано мрачной обстановкой комнаты: темными ветхими драпировками, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все усилия были тщетны. Неодолимый страх все глубже проникал в мое существо, и наконец демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием освободился от него, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную тьму, начал прислушиваться, сам не зная зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим, неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я торопливо набросил платье, ибо чувствовал, что в эту ночь не придется спать, и, пытаясь побороть овладевшее мной жалкое малодушие, принялся расхаживать взад и вперед по комнате.

Сделав два-три поворота, я остановился, услышав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он легко постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Лицом он, как всегда, напоминал труп, но на этот раз какое-то безумное веселье светилось в его глазах, – очевидно, он был в состоянии *истерии*. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству и поэтому даже обрадовался его приходу.

– А вы еще не видали *этого*? – сказал он отрывисто, бросив вокруг себя отсутствующий взгляд. – Не видали? Так вот смотрите! – С этими словами он тщательно завесил лампу и, подбежав к окну, разом распахнул его.

Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь в своем мрачном величии была действительно великолепной. По-видимому, ураган со всей своей силой обрушился именно на усадьбу; ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались друг другу навстречу с неимоверной быстротой, сталкивались друг с другом, но не удалялись на значительное расстояние.

Несмотря на то что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было и молния не озаряла их своим блеском. Нижние слои туч и все окружающие предметы светились каким-то неестественным светом, который излучали газообразные испарения, видимые совершенно ясно и окутывающие весь дом.

– Вы не должны, вы не будете смотреть на это, – сказал я Эшеру, отводя его от окна ласково, но решительно. – То, что смущает вас, – довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно, холодный воздух вам вреден. Вот один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте, – и мы скоротаем эту ужасную ночь.

Книга, о которой я говорил, была «Безумная надежда» сэра Ланселота Кэннинга, но мои слова о том, что это один из любимых романов Эшера, были скорее горестной шуткой, ибо неуклюжее и вялое многословие этой книги едва ли могло представлять интерес для моего друга с его возвышенным идеализмом. Как бы то ни было, но больше никакой книги под рукой не оказалось, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что самый избыток безумия, о котором я буду читать, подействует успокоительно на чрезмерно возбужденного ипохондрика (история умственных расстройств знает много подобных странностей). И точно, судя по напряженному вниманию, с каким он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.

Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что нельзя проникнуть в жилище отшельника добром, решает войти силой. Если читатель помнит, эта сцена описывается так:

«Этельред, который по природе был отважен, а к тому же находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, ибо тот был упрям и хитер, но, чувствуя, что его плечи промокли от дождя, и опасаясь, что вот-вот разразится буря, поднял свою палицу и живо пробил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в (железную) перчатку, за створки, так рванул их, что гулкий треск досок разнесся по всему лесу».

Кончив этот абзац, я вздрогнул и приостановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), – мне почудилось, будто из какой-то отдаленной части дома донеслось глухое, неясное эхо того самого звука, который так обстоятельно описан у сэра Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, ибо сам по себе звук был слишком слаб, чтобы заметить его, – буря выла и свистела, и весь дом ходил ходуном.

Я продолжал:

«Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуей дракон с огненной пастью; он сидел на страже перед серебряными дверями золотого дворца, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:

Кто в дверь сию войдет – тот замок покорит;
Дракона кто убьет – получит славный щит.

Тогда Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного».

Я снова остановился – на этот раз с чувством ужаса и изумления: до меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать откуда, слабый и отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.

Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнообразных чувств, особенно же изумлением и ужасом, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел его профиль – глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота:

«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит; но щит не дождался, чтобы витязь подошел, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном».

Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла – точно и впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. Потеряв всякое самообладание, я вскочил на ноги, а Эшер по-прежнему сидел, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и как будто околел. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по всему его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то торопливым, дрожащим голосом, по-видимому не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему – и понял наконец его безумную речь.

– Слышу ли?... Да, я слышу... Конечно, слышу... Давным-давно... Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел – о, горе мне, несчастному!.. – не смел... *не смел сказать! Мы похоронили ее живою!* Разве я не говорил, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам: я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их... много, много дней тому назад... но не смел... *не смел сказать. А теперь...* сейчас... Этельред... ха-ха!.. треск двери в келье отшельника, предсмертный вопль дракона, звон щита... скажите лучше – треск гроба, скрежет железной двери и судорожная борьба под медной аркой подвала... О, куда мне

бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца? Безумец! – Тут он в бешенстве вскочил и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком: – *Безумец/Говорю вам, она стоит сейчас за дверью.*

И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания: высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра, – но в дверях стояла высокая, одетая в саван фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была запятнана кровью, на всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжело рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее.

Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет; я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал, – она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась, налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза, мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшеров.

Вильям Вильсон

Что мне сказать? Что говорит грозная Совесть – это привидение на моем пути?

Чемберлен. «Фаронида»

Позвольте мне называть себя Вильямом Вильсоном. Чистая страница, лежащая передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем. Оно уже достаточно долго было предметом гнева, ужаса, отвращения моих ближних. Разве не разнес ветер негодования его беспримерный позор из края в край земли? О, отверженный из отверженных, не умер ли ты навсегда для земли, для ее почестей, для ее цветов, для ее золотых надежд, и не повисла ли густая, мрачная, безгранная туча между твоими надеждами и небом?

Я не стал бы, если бы даже мог, излагать здесь, теперь, историю моих последних лет – моих несказанных бедствий и непростительных преступлений. Эта эпоха – последние годы моей жизни – была только завершением позора, начало и происхождение которого я намерен описать. Люди обыкновенно падают со ступеньки на ступеньку все ниже. С меня же всякая добродетель упала сразу, как платье с плеч. От простой испорченности я одним гигантским шагом перешел к чудовищности Элагабала. Какое обстоятельство, какое событие послужило толчком к этому несчастью, – об этом я и хочу рассказать. Смерть приближается, ее тень умягчает мою душу. Готовясь перейти в долину сумрака, я жажду сочувствия – чуть не сказал, сожаления – моих ближних. Я желал бы убедить их, что был до известной степени рабом обстоятельств, не лежащих в пределах человеческой власти. Я желал бы, чтобы люди усмотрели в тех мелочах, о которых я сейчас расскажу, маленький оазис рока в пустыне заблуждений. Я желал бы, чтобы они поняли, – и они не могут не понять, что если и существовало раньше такое великое искушение, то человек никогда так искушаем не был и никогда так не падал. Не значит ли это, что он никогда не страдал? Да уж не жил ли я во сне? Не жертва ли я ужаснейшего и таинственнейшего из всех подлунных видений?

Я потомок рода, всегда отличавшегося своей фантазией и нервным темпераментом. Уже в раннем детстве проявились у меня эти наследственные черты. С годами они обнаруживались все резче и резче, причиняя немало беспокойства моим друзьям и неприятностей мне самому. Своенравный, необузданный в своих диких капризах, я был жертвой неудержимых страстей. Слабохарактерные и болезненные, как и я, родители почти ничего не могли сделать, чтобы подавить мои дурные задатки. Кое-какие неумелые и слабые попытки в этом направлении привели только к их полному поражению и моему вящему торжеству. С тех пор слово мое стало законом в семье, я в возрасте, когда детей водят на помочах, был предоставлен самому себе и стал господином своих поступков.

Мои первые воспоминания о школьной жизни связаны с большим ветхим зданием времен Елизаветы, в туманной английской деревушке, где росло много громадных тенистых деревьев и где все дома были очень стары. Дремотой и спокойствием веяло от этого тихого старинного городка. Даже теперь, забывшись в мечтах, я чувствую освежающую прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат бесчисленных кустарников и снова вздрагиваю от неизъяснимо сладкого чувства при глубоких глухих звуках церковного колокола, тяжелые удары которого так неожиданно разбивают тусклый и заснувший воздух.

Вспоминать о школе и школьной жизни, – быть может, единственная радость, которую я могу испытывать в моем теперешнем положении. Удрученному несчастьем – увы, слишком реальным несчастьем! – мне простительно искать хотя бы слабого и мимолетного облегчения в воспоминаниях. Они обыкновенны, подчас смешны, но для меня имеют особое значение,

так как связаны с временем и местом, где я впервые услышал зов судьбы, так безжалостно поразившей меня впоследствии. Обратимся же к воспоминаниям.

Как я уже сказал, дом был старинной и неправильной постройки. Обширная усадьба окружалась высокой и плотной кирпичной стеной со слоем извести и битого стекла наверху. Эта стена, напоминавшая острог, была границей наших владений; за нее мы выходили только три раза в неделю: в субботу вечером, когда нам разрешалось под надзором двух надзирателей прогуляться всем вместе по соседним полям, и дважды в воскресенье, когда мы таким же порядком шли к утренней и вечерней службе в приходскую церковь. Директор школы был пастором этой церкви. С каким глубоким чувством изумления и смущения смотрел я на него из нашего уголка на хорах, когда он торжественной, мерной поступью поднимался на кафедру! Этот почтенный муж – с благосклонным взором, в пышном облачении, в громадном, напудренном, завитом парике, – неужели это тот самый господин с кислой физиономией, в запачканном платье, с линейкой в руках, так свирепо приводящий в исполнение драконовские законы школы? О, великий парадокс, – чудовищно нелепый и неразрешимый!

В массивной стене чернели еще более массивные ворота. Они были обиты железными брусками и усажены железными остриями. Что за мрачный вид! Они открывались только три раза в неделю для вышеупомянутых путешествий на прогулку и в церковь; и в визге их мощных петель ощущалась тайна, наводившая на глубокие размышления.

Ограда была неправильной формы с более или менее обширными выступами. Три или четыре самых обширных служили местом наших прогулок и игр. Они представляли площадку, усыпанную мелким гравием. Я хорошо помню, что тут не было ни деревьев, ни скамеек. Без сомнения, эта площадка находилась позади дома. К переднему фасаду примыкало место, усаженное буксом и другими кустарниками; но в этот священный уголок мы попадали очень редко; разве случалось проходить через него при поступлении или окончательном выходе из школы или в рождественские и летние каникулы, когда, полные веселья, мы разъезжались к родным или знакомым.

Но дом – что за любопытное старое здание! Мне он казался настоящим волшебным дворцом! Не было конца его закоулкам, его непонятным пристройкам! Никогда нельзя было решить, в котором из двух его этажей находишься. Переходя из комнаты в комнату, нужно было всякий раз спускаться или подниматься ступеньки на три, на четыре. Бесчисленные боковые пристройки так изгибались и перепутывались, что наше представление о доме в его целом сливалось с нашим представлением о бесконечности. В течение моего пятилетнего пребывания в школе я никогда не мог решить с точностью, в какой части здания находится спальня, отведенная для меня и других восемнадцати или двадцати школьников.

Самая большая комната в доме – мне все кажется, что и в целом свете – была классная: длинная, узкая, низенькая зала с остроконечными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном и наводящем ужас углу ее находилась квадратная загородка – *sanctum*²⁴ нашего директора, достопочтенного доктора Бренсби, – с массивной дверью. Мы бы скорее умерли *par peine forte et dure*²⁵, чем решились отворить ее в отсутствие доктора. В других углах находились две подобные же загородки, внушавшие нам гораздо меньше почтения, но все-таки немалый страх. Одна из них была кафедра «классика», другая – «английского языка и математики». По всей комнате были рассеяны в беспорядке скамьи и пюпитры – черные, старые, изъеденные временем, заваленные растрепанными книгами и до того изрезанные начальными буквами, целыми фамилиями, уродливыми фигурами и тому подобными образчиками работы перочинного ножа, что совершенно утратили свою первоначальную форму. Большая кадка с водой помещалась на одном конце комнаты, а чудовищных размеров колокол – на другом.

²⁴ Святотелище (лат.).

²⁵ Страшная и мучительная смерть (фр.).

Замкнутый в стенах этой почтенной академии, – но отнюдь не изнывая от скуки или отвращения, – я провел годы третьего люстра моей жизни. Творческий мозг ребенка не нуждается во внешнем мире или внешних впечатлениях для своей работы и деятельности, и томительное с виду однообразие школьной жизни давало мне более сильные ощущения, чем роскошь в молодости или преступление в зрелые годы. Но, должно быть, первые стадии моего умственного развития представляли много особенностей, много *outré*²⁶. Впечатления от событий раннего детства редко сохраняются в зрелом возрасте. Все подернуто серой тенью – всплывают только слабые, отрывочные воспоминания пустых радостей и воображаемых страданий. У меня не так. Должно быть, мои детские ощущения были сильны, как ощущения взрослого человека, потому что тогдашние впечатления врезались в мою память глубоко, живо и прочно, словно надписи на карфагенских медалях.

А между тем как незначительны эти воспоминания на деле: укладывание спать вечером, уроки, зубрение, периодические отпуска, экзамены, рекреационный двор с его играми, ссорами, дразнами – вот что в силу какого-то давно забытого волшебства являлось источником всяких чувств, целым миром происшествий, разнообразных волнений, страстного возбуждения. *«O, le bon temps, que ce siècle de fer!»*²⁷

Мой пылкий, восторженный, властный характер быстро выделил меня в среде моих товарищей и мало-помалу, но совершенно естественно, дал мне влияние над всеми школьниками, не слишком превосходившими меня возрастом, над всеми – за одним исключением. Этим исключением оказался ученик, который, не будучи моим родственником, носил те же самые имя и фамилию, что, впрочем, не представляет ничего странного: несмотря на древнее происхождение, моя фамилия – одно из тех распространенных имен, которые, кажется, с незапамятных времен были общим достоянием толпы. Я потому и назвал себя в этом рассказе Вильямом Вильсоном – это вымышленное имя немногим отличается от действительного. Мой однофамилец, единственный из всех учеников, вздумал тягаться со мною в науках, в играх и ссорах на рекреационной площадке, не верил моим утверждениям, не подчинялся моей воле, словом, ни в каком отношении не признавал моего авторитета. Если есть на земле деспотизм в полном смысле слова, так это деспотизм школьника над менее энергичными товарищами.

Непокорность Вильсона была для меня источником величайших неприятностей; несмотря на презрение, с которым я перед другими относился к нему и его претензиям, втайне я чувствовал, что боюсь его, и не мог не видеть в равенстве, которое ему удавалось так легко сохранять по отношению ко мне, доказательство превосходства, – не даром же мне приходилось напрягать все свои силы только для того, чтобы не быть побежденным. Но это превосходство – даже это равенство – замечал только я, наши товарищи, в силу непонятого ослепления, по-видимому, ничего не подозревали. В самом деле, его соперничество, его упорство и в особенности его наглое и грубое вмешательство в мои распоряжения имели ядовитый, но чисто личный характер. По-видимому, ему было чуждо как честолюбие, так и страстная энергия ума, заставлявшие меня соперничать с ним. В своем соперничестве он точно руководился капризным желанием уязвить, ошеломить или оскорбить меня лично; хотя по временам я не мог не заметить – с чувством удивления, досады и унижения – какую-то неуместную ласковость манер, соединявшуюся у него с оскорблениями, насмешками или противоречиями. Я мог объяснить это странное поведение только вульгарным самодовольством, принимающим покровительственный вид.

Может быть, эта последняя черта в характере Вильсона, в связи с одинаковостью фамилии и тем случайным обстоятельством, что мы поступили в школу в один и тот же день, заставила старших учеников школы считать нас братьями. Старшие вообще не особенно инте-

²⁶ Чрезмерный (*фр.*).

²⁷ О, доброе время, этот железный век! (*фр.*)

ресуются делами младших. Но если бы мы *были* братьями, то лишь близнецами, так как впоследствии, оставив школу доктора Бренсби, я случайно узнал, что мой однофамилец родился девятнадцатого января 1813 года. Действительно странное совпадение, так как и я родился в тот же день.

Странно, что, несмотря на постоянные неприятности, причиняемые мне соперничеством Вильсона и его несносной страстью противоречить, я решительно не мог возненавидеть его. Разумеется, между нами происходили ежедневные стычки, в которых, уступая мне пальму первенства, он тем или иным образом давал понять, что, собственно говоря, она принадлежит ему; но моя гордость и его достоинство не позволяли нам заходить дальше слов, а вместе с тем многие родственные черты в наших характерах возбуждали во мне чувство, которому только наши острые взаимные отношения мешали превратиться в дружбу. Трудно описать или определить мои действительные чувства к нему. Они были изменчивы и смешаны; страстность – однако не ненависть; уважение, почтение с примесью страха и несказанное любопытство. Нужно ли говорить, что я и Вильсон были неразлучны?

Эта ненормальность наших отношений придавала всем моим нападениям на него (а их было много, явных и тайных) скорее характер насмешливых шуток, чем серьезной и решительной вражды. Но мои насмешки часто не попадали в цель, и задуманный хотя бы очень искусно план – не удавался: в характере моего однофамильца было много того несокрушимого и холодного спокойствия, которое, упиваясь собственным остроумием, – неуязвимо для чужого и решительно не поддается насмешке. Я нашел у Вильсона только одно слабое место, зависевшее от физического недостатка, которое всякий противник, менее истощивший свои средства борьбы, Наверное, пощадил бы: мой соперник, вследствие какого-то особого устройства голосовых связок, мог говорить только *весьма тихим шепотом*. Я не замедлил воспользоваться жалким преимуществом, которое давал мне этот недостаток.

Вильсон не оставался в долгу, и одна из его обычных шуток в особенности досаждала мне. Как он догадался, что этот пустяк будет раздражать меня, я понять никогда не мог, – но, догадавшись, он не преминул воспользоваться своим открытием. Я всегда чувствовал отвращение к своей фамилии и вульгарному, чтобы не сказать – плебейскому, имени. Это имя резало мне ухо, и когда, в день моего поступления, явился в школу второй Вильям Вильсон, я рассердился и на него, и еще более возненавидел самое имя за то, что его носит посторонний, который вечно будет со мной и которого, как водится в школах, вечно будут смешивать со мной.

Зародившееся таким образом неприятное чувство усиливалось каждый раз, когда обнаруживалось новое моральное и физическое сходство между мною и моим соперником. Я еще не знал тогда, что мы родились в один и тот же день, но я видел, что мы одинакового роста и удивительно похожи друг на друга фигурой и чертами лица. Меня раздражало также распространенное в старших классах убеждение, что мы родственники. Словом, ничто так не могло расстроить меня (хотя я всячески скрывал это), как намек на какое-либо сходство в нашей биографии, наружности, складе ума. Впрочем, я не видел, чтобы (если не считать слухов о нашем родстве) это сходство служило предметом чьих-либо разговоров или даже замечалось нашими товарищами. Что Вильсон замечал его, как и я, было ясно; но что он сумел найти в этом обстоятельстве богатый источник шуток по моему адресу, – можно приписать только его необычайной проницательности.

Его система состояла в передразнивании моих слов и действий, и он исполнял это мастерски. Скопировать мою одежду было нетрудно; мою походку и манеры он также перенял быстро и, несмотря на свой физический недостаток, сумел поддаться даже под мой голос. Разумеется, он не мог передать его звука, но интонацию перенял в совершенстве; *и его обычный шепот был эхом моего голоса*.

Как жестоко терзал меня этот двойник (потому что его нельзя было назвать карикатурой), – я и передать не в силах. Единственным утешением для меня было то, что никто не

замечал этого передразнивания, и только я один понимал многозначительные и саркастические улыбки моего однофамильца. Довольный своей выдумкой и произведенным на меня впечатлением, он лишь втихомолку посмеивался и пренебрегал возможным успехом этой остроумной шутки перед толпой. Каким образом остальные ученики не подметили его планов, не обратили внимания на их исполнение, не приняли участия в его насмешках, оставалось для меня загадкой в течение многих мучительных месяцев. Может быть, причиной тому была *постепенность*, медленное усиление подражания или, что вернее, мастерство подражателя, который, оставляя в стороне мелочи (а их только и замечают дюжинные наблюдатели), схватывал лишь общий характер, доступный моему наблюдению и возбуждавший мою досаду.

Я уже не раз говорил о покровительственном тоне, который он принимал по отношению ко мне, и о постоянном вмешательстве в мои дела. Вмешательство часто принимало ненавистную форму совета – совета, высказанного не прямо, а намеком, обиняком. Я относился к этому с отвращением, и оно возрастало с годами. Но теперь, после стольких лет, я должен отдать справедливость моему противнику: намеки его никогда не имели целью склонить меня к ошибкам и заблуждениям, свойственным незрелому возрасту и неопытности; нравственное чувство его – если не таланты и житейская мудрость – было развито тоньше, чем у меня; и, может быть, я был бы ныне лучшим, а следовательно, и более счастливым человеком, если бы пореже отвергал советы, высказанные этим значительным шепотом, который я так пылко ненавидел и так злобно осмеивал.

Этот неизменный контроль надо мной доводил меня до иступления, и я все с большим и большим раздражением относился к его, как мне казалось, невыносимому нахальству. Я говорил, что в первые годы нашего знакомства мои чувства к нему легко могли бы превратиться в дружбу; но в течение последних месяцев моего пребывания в училище, – хотя его приставания в это время значительно ослабели, – мое отношение к нему в такой же мере приблизилось к ненависти. Однажды он, кажется, заметил это и с тех пор начал избегать меня или делать вид, что избегает.

Как раз около этого времени, – если не обманывает память, – в одной крупной ссоре, когда он, противно своей природе, разгорячился до того, что стал говорить и действовать напрямик, мне почудилось в его тоне, в его наружности нечто такое, что сначала поразило меня, а потом глубоко заинтересовало, пробудив в моей душе смутное ощущение, будто мы уже встречались с этим человеком – когда-то давно, в бесконечно далекие времена. Ощущение это, впрочем, исчезло так же быстро, как явилось, и я упоминаю о нем лишь для того, чтобы отметить день последнего разговора с моим странным однофамильцем.

В громадном старом доме с его бесчисленными закоулками было несколько больших комнат, сообщавшихся между собой и служивших спальнями для учеников. Было также (что вполне естественно при странной распланировке здания) множество маленьких комнаток и клетушек, которые изобретательная экономия доктора Бренсби тоже превратила в спальни, хотя в этих чуланах могло помещаться лишь по одному человеку. Одну из таких клетушек занимал Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года школьной жизни и тотчас после упомянутой выше ссоры, ночью, когда все спали, я встал с постели и с лампой в руках пробрался по лабиринту узких коридоров к спальне моего соперника. Я давно уже обдумывал одну из тех злобных шуток, которые до сих пор не удавались мне. Теперь я решил привести в исполнение мой план и дать сопернику почувствовать всю силу моей злобы. Добравшись до его комнатки, я вошел без шума, оставив лампу, прикрытую колпаком, за дверьми. Я прислушался, войдя, к его спокойному дыханию. Убедившись, что он спит, я вернулся в коридор, взял лампу и снова подошел к его постели. Она была закрыта занавесками, я спокойно, не торопясь, их раздвинул; яркий свет лампы упал на спящего, мои глаза в ту же минуту устремились на его лицо. Я глядел на него, и страшное, ледяное чувство охватило меня. Колени дрожали, беспредметный,

невыносимый ужас охватил мою душу. Задыхаясь, я еще приблизил лампу к его лицу. Неужели это черты Вильяма Вильсона? Я видел его черты, но я дрожал как в лихорадке, мне казалось, что это не он. Что же поразило меня до такой степени? Я смотрел – и тысячи бессвязных мыслей проносились в моей голове. Не таким, не таким он являлся в обычное время. То же имя, те же черты лица, тот же день поступления в училище, затем его нелепое и бессмысленное подражание моей походке, моему голосу, моим привычкам и моим манерам... Возможно ли, чтобы то, что я теперь видел, было простым результатом этого передразнивания? Пораженный ужасом, дрожа, я погасил лампу, тихонько удалился из комнаты – и из школы, с тем чтобы никогда не возвращаться в нее.

Проведя несколько месяцев дома в ленивой праздности, я поступил в Итон. Этого короткого промежутка времени было довольно, чтобы ослабить мои воспоминания о школе доктора Бренсби или, по крайней мере, существенно изменить ощущения, с которыми я вспоминал о ней. Трагедии, драмы больше не было. Я сомневался теперь в собственных чувствах, и если вспоминал иногда о своем последнем приключении, то лишь для того, чтобы подивиться человеческому легковерию и посмеяться над живостью моего воображения. Это скептическое состояние духа поддерживалось образом моей жизни в Итоне. Безумный разгул, которому я предан был быстро и без оглядки, смыл все воспоминания прошлого, потопил все глубокие или серьезные впечатления, оставив только пустые и ничтожные.

Не стану описывать моего жалкого беспутства, доходившего до прямого вызова закону, хотя мне удавалось обходить бдительность итонских властей. Три года минули для меня без всякой пользы, укоренив только привычку к пороку да значительно прибавив мне росту; однажды, после целой недели беспутного разгула, я пригласил небольшую компанию самых отчаянных студентов на тайную пирушку. Мы сходились всегда поздно вечером, так как наша гульба неизменно продолжалась до утра. Вино лилось рекою, немало было и других, более опасных развлечений, – восток уже посерел, а у нас еще стоял пир горой. Разгоряченный вином и картами, я собирался провозгласить крайне нечестивый тост, но вдруг внимание мое было привлечено приотворившейся дверью и тревожным голосом слуги. Он объявил, что какой-то человек требует меня по делу, по-видимому, очень спешному.

В моем возбужденном состоянии это неожиданное посещение скорее развлекло, чем удивило меня. Пошатываясь, я вышел в переднюю. В ней не было лампы, она освещалась только слабым светом наступающего утра, чуть брезжившим в полукруглое окно. Переступив через порог, я заметил фигуру молодого человека приблизительно моего роста, в белом утреннем костюме, сшитом по тогдашней моде, таком же, какой был в эту минуту на мне. Я не мог рассмотреть его лица. Но едва я вошел, он бросился ко мне, нетерпеливо схватил меня за руку и шепнул мне на ухо: «Вильям Вильсон!»

Я отрезвел в то же мгновение.

В манерах этого незнакомца, в дрожащем пальце, которым он грозил мне, было что-то ошеломившее меня, но не этим я был так страшно взволнован. Торжественность, выразительность этого странного, низкого, шипящего голоса и, главное, характер, *интонация* этих немногих, простых, знакомых, произнесенных *шепотом* слов разом вызвали тысячи смутных воспоминаний давно минувшего времени и поразили мою душу, точно удар гальванической батареи. Прежде чем я успел очнуться, он исчез.

Этот случай оказал сильное, но быстро изгладившееся действие на мое расстроенное воображение. В течение нескольких недель я старался разобраться в случившемся, предавался угрюмым и туманным размышлениям. Я не мог не узнать странного субъекта, который упорно вмешивался в мои дела и надоедал мне двусмысленными советами. Но кто и что такое этот Вильсон, откуда он взялся, чего ему нужно? Ни одного из этих пунктов я не мог выяснить; узнал только, что какое-то семейное несчастье заставило его покинуть школу доктора Бренсби в самый день моего бегства. Впрочем, я скоро забыл о нем, поглощенный предстоявшим мне

переездом в Оксфорд, куда я вскоре и поступил. Нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня такими средствами, что я мог вести там роскошную жизнь, уже близкую моему сердцу, – жизнь безумной расточительности в обществе высокомернейших наследников первых богачей Великобритании.

При таких условиях моя натура развернулась вполне, в безумии разгула я пренебрегал даже элементарными требованиями приличия. Но было бы нелепо описывать подробно мои похождения. Довольно сказать, что я заткнул за пояс самых отчаянных бездельников и, как герой множества новых безумств, значительно увеличил список пороков, обычных в самом распушенном из европейских университетов.

Трудно поверить: я уже до того опустился, до того утратил достоинство джентльмена, что стал якшаться с самым низменным сортом профессиональных игроков, перенял их приемы и пользовался ими для увеличения моих доходов за счет простаков-товарищей. Это факт, однако, и самая чудовищность подобного поведения, немыслимого для мало-мальски порядочного человека, была главной, если не единственной, причиной его безнаказанности. Кто из беспутных моих товарищей не усомнился бы в своих собственных чувствах, прежде чем заподозрить в подобном поведении веселого, честного, щедрого Вильяма Вильсона – благороднейшего и великодушнейшего из студентов Оксфорда, чьи безумства (говорили его прихлебатели) – только увлечения юности и необузданной фантазии, ошибки – только неподражаемое своеобразие, а худший из пороков – только беззаботная и блестящая эксцентричность?

Два года я с успехом подвизался на этом поприще, когда поступил в университет молодой аристократ *parvenu*²⁸, Глендиннинг, богатый – гласила молва – как Крёз. Я скоро убедился, что он очень недалекий малый, и, разумеется, наметил его в качестве подходящего субъекта для моих целей. Я часто приглашал его поиграть в карты и, как водится у шулеров, проигрывал порядочные суммы, чтобы вернее заманить его в мои сети. Наконец, подготовив почву, я встретился с ним (заранее решив, что эта встреча будет окончательной и решительной) в помещении одного студента (мистера Престона), который хорошо знал нас обоих, но, надо ему отдать справедливость, совершенно не подозревал о моем замысле. Желая обойти богача получше, я искусно напросился к мистеру Престону на вечер и позаботился, чтобы карты явились случайно, по просьбе самого Глендиннинга. Словом, я не упустил ни одной из низких хитростей, столь неизменных в подобных случаях; можно только удивляться, что еще не перевелись дураки, которые им верят.

²⁸ Выскочка (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.